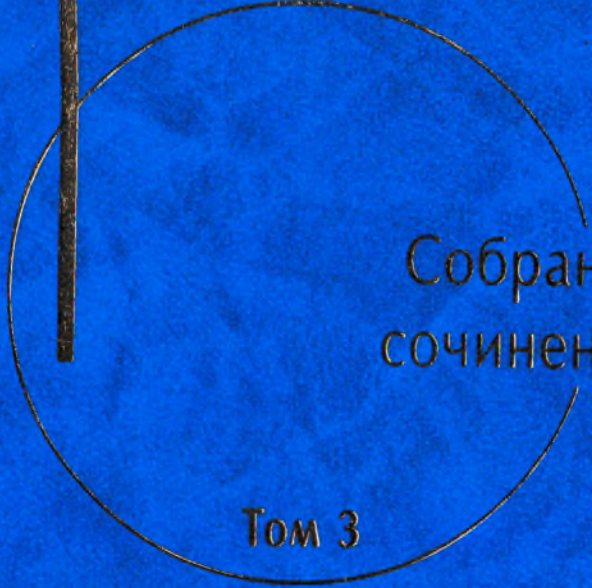
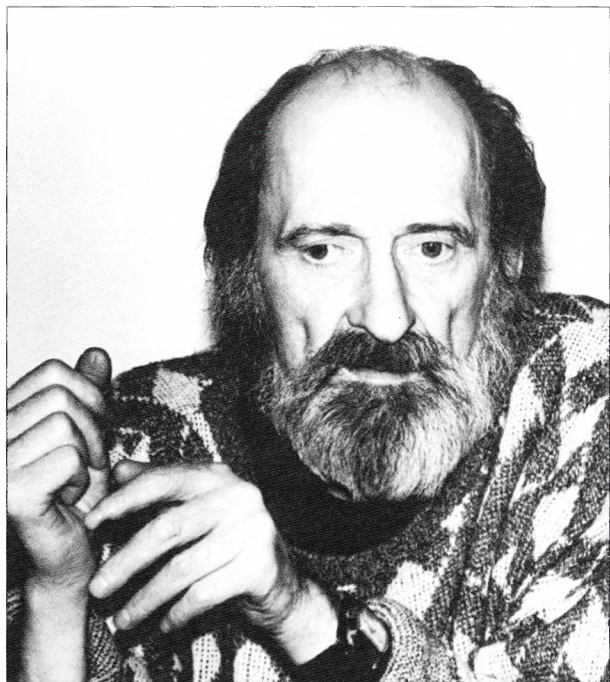


**Алексей
РЕШЕТОВ**



Собрание
сочинений

Том 3



A. Penner

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЁХ ТОМАХ

Составители:

Т.П.Катаева, А.П.Комлев

Редакционная коллегия:

А.А.Войтенко, Т.П.Катаева,
А.П.Комлев (*отв. редактор*), Ю.П.Марков,
А.Ф.Старовойтов, С.Г.Фатыхов,
Г.К.Щенников, Ю.В.Яценко

Екатеринбург
Банк культурной информации
2004

АЛЕКСЕЙ РЕШЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ТРЕТИЙ

Проза

Екатеринбург
Банк культурной информации
2004

**Издание осуществлено
по инициативе Администрации города Березники**

**и при поддержке
Правительства Челябинской области,
Министерства культуры Свердловской области
и Тюменской областной научной библиотеки
им. Д.И.Менделеева**

Решетов А.Л.

Р 47 Собр. соч. в 3-х т. Том 3. Проза. — Екатеринбург:
Банк культурной информации, 2004. — 272 с.
ISBN 5-7851-0501-2
ISBN 5-7851-0504-7 (т.3)

ISBN 5-7851-0501-2
ISBN 5-7851-0504-7 (т.3)

© Т.П.Катаева, публикация,
составление, примечания, 2004.
© А.П.Комлев, составление,
редакция, 2004.
© Банк культурной информации,
оформление, 2004.



П Р О З А

В начале года. Дело.
мужна Галина сорван у матери
первои цветом с икрами розг.
Назущи ея отчтени в домном
и мн поуми и ели на
мавоту
протв дома. и мн кауаче
себе там много отомн, там
ли псущешот мн, даи бор нас
вернуи от ^{наглую} ~~защитную~~ редоев. Бор
там мн и мдеи. и вернуи
и бут ебе дубуши. и мнне
по лупи: - ~~можеи дае протв~~

~~и дае протв~~
~~и дае протв~~
~~и дае протв~~
и дае протв

и дае протв, мола, согласн ное
Тад ушан vorne цементного
Завофт, мнн ч мнн енопзер,
не енушаноев, невольно прикочу
обере, придерисав - ~~перва~~

А пором - болото, мннн, ~~и дае протв~~
моерни = ~~и дае протв~~ ~~и дае протв~~
Глони енушан в начале дуботн

ЗЁРНЫШКИ СПЕЛЫХ ЯБЛОК

Повесть

Будь у меня волшебная палочка или фантастическая машина времени, я бы хоть ненадолго вернулся в свое детство.

И вновь бы наступила весна сорок четвёртого года. Повеселели люди — скоро начнут распределять участки под картошку. А когда её можно будет подкапывать...

Вот только где дадут место? За аэродромом, на Красной речке, или у чёрта на куличках?

А мы бы с Петькой уселись, как бывало, на крылечке, грелись бы на солнышке и поглядывали на Индуса.

Индус — это собака, чёрная и тощая. У него нет конуры — зимой её разломали на дрова. Он лежит прямо на земле и вздрагивает. То ли ему холодно, то ли он вспоминает, как его избодала чуркинская коза Марта.

Из-за этой Марты я сам однажды чуть не утонул. Чуркина дала нам с Петькой мешок, чтобы мы нарвали для Марты травы. Самая хорошая трава росла в парке на обрыве. Я как-то неловко потянулся за сочным кустом пырея и вместе с ним полетел в реку.

Бородатый рыбак вытащил меня, откачал и привёл домой. Конечно, он всё рассказал бабушке. Та поругалась с Чуркиной: «Не смейте эксплуатировать моих детей!». Чуркина обиделась и перестала давать нам в долг молоко...

Индус боится Марты. Мы с Петькой тоже. Но ещё мы с Петькой побаиваемся и соседских мальчишек.

Всю зиму просидели мы дома — не в чем было выходить. И потом отвыкшие от нас мальчишки встретили градом насмешек:

— Глядите, бабенькины сыночки вышли!

Они знали, что у нас есть только бабушка, и никогда не называли меня и Петьку маменькиными сынками, а всегда бабенькиными.

— Бабенькины сыночки, почему у вас такие белые ручки?

Руки наши, не знавшие ветра и солнца, были действительно прозрачно-белы. Но разве мы в этом виноваты? Мы спросили у бабушки. Она сказала, что во всём виноват один Гитлер.

Впрочем, мальчишкам очень скоро надоело дразниться. Но мы не сразу забыли обиду и старались держаться от них подальше. Даже к незнакомому, неожиданно появившемуся в нашем дворе мальчугану мы отнеслись настороженно.

Он подъехал к нашему крыльцу верхом на дранке, похлопал золотыми ресницами и сказал:

— А я Витька Майоров. А меня к отцу привезли.

— Ну и что? — ответили мы сухо. — Ну и иди отсюда.

— А вы что — купили это место?

— Беги, пока не перепало!

Витькин «рысак» мгновенно превратился в «шашку». Наши пальцы сжались в кулаки. Не знаю, чем бы всё это кончилось, если бы не Индус. Он влез между нами, мешая драться, помахал обрубком хвоста, посмотрел на всех удивлённо и ласково: мол, чего это вы, своих не узнаете? И воинственный пыл наш сразу пропал.

Мы с Петькой опустили на ступеньку. Витька стоял в стороне и чесал болячку на коленке.

Только тут мы его разглядели как следует: штаны на ляпочках, майка задом наперёд, веснушки даже на руках. А на рыжей голове фуражка с голубым околышком. Она собрана на затылке в шишку (так старые учительницы укладывают волосы) и скелота английской булавкой.

— Ты это чо на башке накрутил? — спросил Петька после долгого молчания.

Витька сразу перестал чесаться и почтительно тронул руками верх фуражки.

— Это я, чтоб она не слетела. — Слова сыпались из его большого рта, как из сухого стручка горошины. — Сперва у меня шлем был, тоже большой. Понял? А это Митькина фуражечка, братана. Пошел я раз, куда царь пешком ходит, а там крысы. Понял? Хомяки здоровенные. Я башку задрал, чтоб орать, а шлем в дырку — энч! И сплавился. Так эту я точь-в-точь по кумполу сделал, а то, как живот схватит, я её первой штанов снимал и держал в зубах, как бобик.

Витька качнул ногой в сторону Индуса и спросил:

— Он у вас охочий? Я вот однажды шёл, и-шёл, — он хотел объяснить, как долго был в пути, и раз десять повторил это «и-шёл».

Нам надоело. Я сказал:

— Ладно, заткнись, Ишёл!

Тогда Витька шмыгнул носом и выложил свой главный козырь:

— А я знаю, кто Пушкина убил!

* * *

Пожалуй, нет на свете людей, поминающих чёрным словом своё детство. Даже очень бедное, суровое, оно всё же прекрасно непроходящим чувством новизны мира...

Но самое лучшее, самое светлое в русском детстве — это Пушкин.

Встаёт солнце — и школьница читает у доски стихи про Анну Керн; наступает вечер — и мать баюкает малыша пушкинской колыбельной...

Однажды, уже подростком, я долго бежал за незнакомым человеком в серой старомодной накидке, потому что что-то живое пушкинское промелькнуло в его удаляющейся фигуре и в железной палке, на которую он опирался.

* * *

Витькин козырь подействовал. Про убийство поэта мы раньше не слышали. Витька этим воспользовался и подсел к нам на крыльцо.

Потом сказал, ни к кому не обращаясь особенно:
— Дантес убил — вот кто.

И опять посыпались «горошинки». Через две

минуты мы уже знали, как было дело. Оказывается, Дантес постучал к Пушкину поздно ночью. Тот уже разделся и лёг спать. Запоздалый гость попросился переночевать. Пушкин ответил: «Вчера придешь, мукой отоварю». В общем, не пускает. А Дантес не отстаёт. Пушкин тогда говорит: «Всё равно мы на одну коечку не влезем». Дантес всё свое: «Ничего, я на самой железке, с краюшку». Ну, лёг с Пушкиным и убил его.

Рассказ нового знакомого привел нас в полное недоумение. Как же так? Конечно, иногда людей убивают — это мы знали. Убили Лазо и Чапаева. Кажется, отравили Сухэ-Батора. Но то ж враги делали! А тут ведь на одной коечке лежали...

Мы сами чуть не год пролежали с Петькой вместе в кровати — то рядом, то валетиком. Холодно было вылезать из-под одеяла. На пол только плюнешь — слюна сразу становится ледяной пуговкой.

И мы ни разочка даже не поссорились. Только однажды, когда я пристал к Петьке: «Почитай да почитай», он столкнул меня с кровати, и я ушиб локоть.

Пришла с работы бабушка и, узнав, отчего я хнычу, назвала нас Авелем и Каином. Меня — Авелем, Петьку — Каином. Она так и сказала:

— Вот Каин Авеля так же обижал. А я-то думала, что вы уже взрослые.

После этого Петька читал вслух беспрекословно. Когда не было интересной книжки, он читал газеты. Правда, не всё в них было понятно:

«... Я внёс в фонд обороны лично мне принадлежавшую драгоценную панагию, оценённую свыше

чем в 500 тысяч рублей. Следуя моей инициативе, духовенство русской обновленческой церкви...»

Что это за панагия? Клад, что ли? Но почему в другой раз она называется какой-то «моей инициативой»? Вот то ли дело, как про шофёра Громова написано. Вёз снаряды. Прицеп загорелся. А он потушил. «Рискуя собственной жизнью». Всё понятно. А то — панагия...

И без того нам хватает над чем подумать. Когда мы убежим к партизанам? Получает ли Сталин зарплату? Из чего делают сахарин? Что мы ответим бабушке, если одна девчонка — Ленка-маленькая — сболтнет, что мы с ней целовались?

Но всё это пустяки по сравнению с одним, самым главным вопросом: когда же наконец будет тот праздник на нашей улице, о котором так часто говорит бабушка?

— Давай у неё самой спросим.

— Давай. Только почитай, пока она придёт.

И Петька поджимает под кусучим солдатским одеялом ноги и на острые углы коленок кладёт растрёпанную книжку.

Её героиня, дымчато-розовая антилопа, ест травинки и пьёт воду.

Самое мимолетное упоминание о пище заставляет нас часто проглатывать слюнки. От голода во рту так горько, как от медной свистульки.

Скорее бы пришла бабушка! И зачем мы так быстро съели оставленные ею картошины? Теперь в зелёной мисочке, на дне, лежит только серенький и липкий картофельный мундир...

Мы с надеждой поглядываем на покрытую по углам инеем дверь, на изъеденные ржавчиной ходики... Стрелки их медленно ходят по циферблату, особенно — маленькая. В комнате начинает темнеть, мы зажигаем свет, а бабушки всё нету.

Наконец она приходит, но тут же, не раздевшись, бежит к Коляде за углём: «Не дай Бог, если этот бирюк уже улёгся — ни за что не встанет!».

Тяжело дыша, бабушка приносит полведра угля. С трудом растапливает печь. Синее и розовое вспыхивает пламя. Крышка у чайника начинает подпрыгивать как живая.

Укрыв нас своей телогрейкой, бабушка садится на край постели.

— Ну, вот и тепло. Замёрзли тут без меня? Не ссорились?

— Нет, — отвечаем мы с Петькой, — мы читали.

— Вот и слава Богу. Братья и не должны ссориться. Иначе, какие же они братья?

... Так нам и запомнилась зима — с жалобно скрипящими, будто они не хотели открываться и закрываться, дверями, с ожиданием, что вот придёт бабушка, с медленно разгорающимся углём, с зимней тоской и тесной нашей дружбой...

* * *

Взрослые называли фотографа чудаком. Дети — чудаком на постном масле. Он вырывал у женщин вёдра с мусором, сам ковылял к помойке. Или за кого-то дежурил во время тревоги. Или кому-то колол дрова. Колол старательно, но неумело,

так что отлетавшие щепки часто рассекали ему бровь или щёку.

И люди замечали: «В чужом пиру похмелье». Люди любят при случае говорить поговорки.

Фотография была его страстью. Он не мог равнодушно видеть, как мы сидим на бревнах или завалинке. Выбежит: «Минутку, сэры, только запечатлею вас для истории...» Иногда он «запечатлевал» нас несколько раз в день...

Где-то на беженских дорогах он потерял младшего сына. Из-за «лейки» фотографа приняли за подозрительную личность, и, пока подвергали проверке, мальчик исчез. То ли с кем-то ушёл, то ли попал под бомбёжку. Фотограф добрался до нашего города. Здесь у него были кое-какие связи. Писал и посылал карточки своего бедного Викочки. Его успокаивали, советовали обратиться туда-то и туда-то, он обращался, но всё без толку.

Он на глазах поседел, запил и, пьяный, всё показывал многочисленные семейные фотографии: старшего сына (о, это гордость авиации!) и давно умершей жены, у которой было «неплохое сопрано».

А если собеседник не давал понять, что ужасно спешит, то фотограф переходил к пейзажам:

— Вот, пожалуйста, типичный московский дворик. Вы в Москве не бывали? А это Сухуми — пальмовая аллея. Знаете, это сказка! А песок! Боже мой, какой там песок! Викочка всё, бывало, босой бегал... Нет, ничего, ничего... Это сейчас пройдёт... Прошу вас, не обращайтесь внимания...

Чем больше получал он неутешительных справок о своем Викочке, тем сильнее привязывался к нам, ребятам. В то же время он словно стеснялся своей привязанности и, если взрослые заставляли его с нами, сразу же уходил или говорил сбивчиво и виновато:

— Я тут засиделся... Впрочем, взгляните сами на этих детей! Растёт прекрасное поколение. Оно так рано и так много увидело горя. И никакое несчастье впредь его уже не сломит. Получился как бы насыщенный раствор этого горя, и новое в нём уже не растворится... Я понятно говорю?

Один человек был к нему очень внимателен — художник дядя Вадим. Фотограф называл его коллегой, а мы с Петькой, считая, что коллега и калекка одно и то же, очень удивлялись, почему художник не обижается.

Правда, думали мы, художник болеет сильно — вон какое у него жёлтое лицо. Но зачем ему всё время об этом напоминать? Он этого не любит. Однажды Коляда, наш дворник, сказал ему: «Доходишь, Петров, а всё через интеллигентское своё телосложение костей». А потом на Индуса кивнул: вон твоё лекарство бегают, зарезать да по кусочку пользоваться. Так дядя Вадим аж затрясся весь, так разозлился. И здороваться перестал с Колядой...

Осенью художник надолго слёг. Во двор каждый день въезжала «санитарка» — машина с красными крестами на окнах. Фотограф выбегал на её шум и хватал за рукав шофёра. Говорил он быстро, словно боялся, что не успеет докончить:

— Знаете, это ужасно. На весь город двести граммов желатина. А тут такое кровотечение. Нужно обязательно сгустить кровь...

— Война, батя, — хрипло отвечал шофёр и, хлопая по карману своей добела потёртой кожанки, спрашивал:

— Табачком не богат?

Они садились на подножку машины и закуривали.

— Человек-то, какой! — говорил фотограф.

— Да-а-а! — неопределённо отвечал шофёр и глубоко затягивался.

Потом фотограф брал за локоть подходившего к машине старикашку в белом, как у продавца, халате.

— Профессор, что вы скажете?

— Э-э, батенька. Простите, а вы, собственно, кто?

И чужак фотограф молчал, точно забыл свою фамилию.

Подпрыгивая, «санитарка» уезжала, а он ходил по её следам и повторял:

— Это ужасно... ужасно... Двести граммов желатина.

Как-то в проливной дождь «санитарка» особенно долго стояла во дворе. По стёклам от крестиков текли красные струйки. Фотографа не было, и шофёр в кабине посасывал пустой мундштук.

— Едем, Ваня, — уже сказал ему профессор, но тут к машине метнулась длинная несуразная фигура. Фотограф бежал, прижав к груди большой

газетный свёрток. Фотографская шляпа, сорванная ветром, катилась к луже, но он не обращал на то внимания.

— Профессор, стойте! — кричал он. — Ваня, подержите машину!

Добежав и кое-как отдышавшись, он спросил обеспокоенно:

— Так вы были? Да, конечно, какой я чудак... И что? Ему хуже? Что же вы молчите? Умоляю вас, я посторонний, мне всё можно сказать.

— Ему лучше, — улыбнулся профессор. — Впрочем, ещё рано делать какие-либо выводы.

— О, вы маг! Вы... Вы... — фотограф смешно затряс головой.

— Это вам. То есть я хотел сказать — это ему. Это его выставка, я снимал во Дворце труда. «Удар по врагу» — десять плакатов, нарисованных в постели. Кровь с натуры. Со своей собственной... Люди смотрят и плачут, сжимают кулаки. Пусть он их увидит. Это его подвиг...

— Батенька... — профессор тронул пуговицу на мокром пиджаке фотографа. — Впрочем, может быть, вы и правы. Лучше отнести мне, ему нельзя сейчас волноваться...

«Санитарка» ещё долго простояла во дворе.

* * *

День, когда в нашем дворе появился Витька Майоров, то есть отыскавшийся, наконец, Викочка, был самым счастливым днём в жизни фотографа.

— Будет тебе, Мариша, — говорит бабушка. — И твой найдётся. Вот ведь у Майорова, погляди... И на фронте так же получится может. Напишут эту страшную бумагу, пошлют людям, а потом выяснится, что с бухты-барахты её послали.

— А тут? — тихо спрашивает Мариша и показывает рукой на грудь. — Тут ведь не врёт. Ой, не говори мне, Александровна.

И тёмное Маришино лицо падает в ладони, и плечи её так дрожат, что с них спадает реденькая шалёнка.

Жалко Маришу бабушке. И нам её жалко.

...Как сейчас я её вижу, и домик её помню. Был домик белый — закоптился, почернел. Извёстки не достать, да и не всё ли одно, в каком доме дожить? Были волосы у Мариши как смоль, чёрные — враз побелели: не то ещё от горя бывает.

Тихо жила беловолосая в чёрном домике...

Нас, мальчишек, никогда не ругала, как бы ей ни докучали. Помню, разбил Димка Сойкин стекло — не пошла жаловаться, хоть знала, что отец Сойкин шума не любит: и стекло достанет, и вставить поможет.

Заложила окно подушкой, вот и всё. Яркая поначалу, как кусочек луга, была подушка. В мирное время покупала Мариша ситец, весело строчила на зингеровской машине наперники... Машину пришлось продать на барахолке, подушка заменила выбитое стекло.

Только Мариша приладила её к раме — пошёл дождь. Первые капли громко шлёпнулись на алые розы и зелёные листья наперника. Он сразу стал

темней. Потом выглянуло солнышко, поводило жёлтым мизинцем по мокрым лепесткам.

А дня через два из уже прорванной подушки вылетал и кружил по двору настоящий довоенный гусиный пух.

Мариша, пока у неё совсем не опухли ноги, с утра уходила из дому. Дверей не запирала: брать нечего и некому.

Мы заскакивали в тёмную комнату. Девочки, правда, сначала повизгивали от страха, но и они быстро осваивались и просиживали с нами до маришиного прихода. Мы толкли кирпич, варили кашу-малашу, играли в госпиталь.

Постепенно глаза привыкали к темноте. Тогда становилась заметней печь с растрескавшейся трубой. На её плите всегда была насыпана зола. Тёплую золу Мариша перед сном выгребала, и она служила ей матрацем. Иногда в золе можно было заметить лунку от локтя или щеки Мариши.

Напротив печки стоял стол. На нём — глиняная тарелка и ложка без черенка. Ложка, зола и подушка в окне — всё было одного тёмного цвета.

Под стол была задвинута квадратная ивовая корзина. Мальчишек привлекала в комнату Мариши именно она.

Мы по очереди влезали в корзину, жужжали и гудели, подражая мотору «легковушки», на которой иногда подкатывал Димкин отец. Димка в этой игре участия не принимал — он и на настоящей машине катался!

Хозяйка пустой корзины возвращалась домой поздно, особенно тогда, когда ходила на пункт

переливания крови, где она состояла донором. Пункт был почти на краю города, да и народу там всегда было много.

Почти все взрослые побывали там за войну, но у многих кровь оказывалась не такой как надо. У Мариши была хорошая кровь...

По дороге к дому она успевала собрать несколько кусочков вара, немного щепок и бересты. Всё это сбрасывала у порога. Сбросит, повернётся лицом к подушке в окне и долго крестится.

А нас — будто тут и нет.

Мы пугались и убегали. Кто-то обязательно кричал на прощанье:

— Мариша — поп! Мариша — поп!

Мариша выглядывала во двор, качала головой и улыбалась.

Но плакала она чаще, чем улыбалась. Даже не плакала, а пела. Пела так, будто плакала.

Мы подкрадывались к двери. Мариша сидела на табуретке и раскачивалась над пустой глиняной тарелкой.

Свет махонькой лампочки падал на волосы и синие губы Мариши. Губы почти не шевелились, и становилось непонятно, откуда в этой комнате берётся унылый человеческий голос. Может, кто-то невидимый стоит за Маришиной спиной и растягивает слова:

Да вознеси-и-и ме-ня-я,
Господь,
Тёмной тученькой...
Да полечу-у-у я к ма-му
Серёженьке...

Заметив нас у приоткрытых маришиных дверей, наша бабушка сердито говорила:

— Отойдите, у человека горе.

Мы отходили, а в ушах ещё долго стояли про-
тяжные, дрожащие слова:

Такой хороший был д'убитый мой.

Утром встанет, с ружьём сходит,
хлебца испекёт...

Вечером Мариша появлялась во дворе и опять тихо улыбалась.

— Извела себя совсем, — вздыхала бабушка.
— Каждый день семик.

И кричала ей:

— Мариша, я заварочки достала, идём чай
пить.

И Мариша идёт.

Мы с Петькой в это время уже укладываемся. А они сидят за столом и пьют без всего, пустой, крепкий, почти чёрный чай.

— Веришь, Александровна, душа прямо горит без чаю-то.

Мариша делает маленький глоток и закрывает глаза.

— Пей, Мариша, пей, — потчует бабушка. — Я ещё подолью. Сама без чаю не могу. Идёшь с работы, знаешь, что у тебя заварочка где-то спря-
тана, — ноги сами идут...

— Идут, — как эхо повторяет Мариша и смотрит на свои ноги в огромных калошах, перехваченных в нескольких местах телефонным прово-

дом. Она отхлёбывает чай, бережно прикасаясь губами к стакану, и говорит без всякой интонации:

— Ноги не мои стали, спасу нет. Доктор сегодня выганивал: «Нельзя вам, мамаша, донором быть». А жить чем?

Мы с Петькой начинаем дремать. Откуда-то, как будто через вату или воду, доносятся голоса. Снова говорят про чай.

— Всем научным работникам чай крепкий дают...

— Как без него войну вынесли бы?

— У Сойкиных в счёт работы взяла...

— Уж не зря они по столовской части...

Голоса отодвигаются всё дальше. Последнее, что я слышу, это произнесённая Маришей фраза:

— Сытый голодного не понимает.

Мы засыпаем.

* * *

Зима давно уже рассказала свою жуткую снежную сказку, и теперь тоненько и весело поёт свою песенку весна. А нам с Петькой всё ещё страшновато: вдруг стужа воротится? Мы закроем глаза, затем откроем, и бабушка строго нам скажет:

— Хватит дурака валять. Видите — снег пошёл. Куда вы теперь — раздетые? Сидите дома. Знаете, как фотограф говорит: «Картошку сварю, покурю, в окошко посмотрю...»

И мы станем смотреть в окно и сначала ничего не увидим от слёз. А потом глазам нашим откроется полузаснеженный двор, где слева — угол

маришиного домика и ещё не сожжённая конура Индуса, справа — двухэтажный, с длинным балконом дом Сойкиных, милиционера Петра Семёновича и Чуркиной. Прямо против нашего окна, в тупичке, белеет мусорный ящик и висится едко названная кем-то «второй фронт» куча банок изпод американской свиной тушёнки.

Посреди двора на расшатанных козлах пилит дрова Коляда. Не себе — Сойкиным. Себе он накрал угля, пока работал на станции. Не на одну зиму хватит, да ещё и на продажу остаётся!

Но Димкина мать углём топить не хочет — копоти много.

— У меня скатерти голландского полотна, стану я их коптить!

Коляде пообещали спирту, и обычно такой медлительный, он на сей раз спешит. Вечером он выпьет, побагровеет, будет плевать и почёсывать густую, чёрную, как печная заслонка, бороду.

Интересная у него борода! По ней всегда узнаёшь, что старик недавно ел: если щи — то кусочек капустного листа в ней зеленеет, если селёдку — косточка застрянет.

Сейчас борода желта от опилок. Они попадают и в глаза его, он трёт веки кулаком и шевелит губами — наверное, матерится.

Ещё некоторое время мы глядим на старика. Одновременно мы с нажимом водим пальцами по оконному стеклу, отчего оно точно мяукает. Нам становится весело.

— Давай ты будешь бедный котёночек, и я буду бедный котёночек, — предлагаю я.

— Нет, — говорит Петька. — Лучше Иванушку покатаем. Не забыл — как?

Конечно, я помню, как мы катали Иванушку.

Однажды среди вороха старых книжек мы нашли подкрашенную акварелью фотографию. Дал нам её Витькин отец. Давно, когда о Витьке ещё ни слуху ни духу не было.

По зелёным волнам, по солнечным колейкам на них неслась лёгкая яхта. На обороте снимка химическим карандашом было написано: «Чёрное море. 40-й год».

С этим снимком мы забрались в постель и стали передвигать его по одеялу — яхта будто плавала.

Одеяло заменяло ей воду, а согнутые под ним ноги — были берегами: мои ноги — левый берег, Петькины — правый.

Наш единственный карандаш мы расщепили зубами на две части. В одеяле есть дырочки, мы вставили в них половинки карандаша и придерживали их пальцами ног.

Получились стволы деревьев. На них мы вешаем сырые наши носки — это кроны. Деревья с общего согласия называются каштанами. Почему — мы и сами не знаем. Каштаны — и всё.

И вот яточка плывёт по одеялу; я надуваю щёки, изготавливаю ветер странствий, а Петька поёт:

Иванушка, сынок,
Плыви на бережок,
То тебя родная матушка зовёт.

И яхта подплывает к берегу.

А Петька поёт опять, но уже не таким тоненьким голосом, как до этого:

Иванушка, сынок,
Плыви на бережок,
То тебя Баба-Яга зовёт.

И карточка поспешно отодвигается к холодной, давно небелёной стенке, у которой стоит наша кровать...

Вторая игра «в Иванушку» захватывает нас ещё больше первой. И мы уже не думаем о том, что мальчишки, у которых есть пальто и шапки и что-нибудь на ноги, без нас будут строить снежные крепости, без нас будут кататься на «дутышах».

Мы играем, бабушка что-то гладит; за окном звенит пила и, как пух из маришиной подушки, летит снег.

Он закрывает последние следы тапочек, кучу консервных банок, пузырьки, горько пахнущие лекарствами, и мотки голубой от окиси проволоки.

Проволоку можно летом собрать и сдать в утильсырьё. А потом мчаться в центр и в Госбанке разжать маленький, с двадцативольтовую лампочку, кулачок, чтобы отдать потную трёшку старенькому кассиру:

— Нате, дяденька, на подводную лодку «Пионер».

И, не чувствуя под собой земли, переполненному необъяснимым светлым чувством, бежать домой...

Как по-взрослому называется это чувство?

Зимой дни короче, летом — длиннее. Так говорила бабушка.

Но мы с Петькой не могли этому поверить. Зимние дни тянулись для нас нестерпимо долго.

Никто из ребят у нас не бывал. Только изредка прибежал Димка, чтобы похвалиться отличной отметкой или сказать, что не надо играть с Валькой Степановым. Он, этот Валька, себе-то сделал медаль из пятака, а Димке только из трёх копеек.

После димкиного ухода нам было особенно грустно. Петька тоже бы ходил в школу, да не в чем.

Ну и пускай! Читает Петька всё равно не хуже Димки. И писать тоже умеет. Только печатными буквами...

Однажды Петька показал мне букву «а», и я на обложке «Руслана и Людмилы» нашел три «а».

Петька обрадовался:

— Теперь я тебе «сэ» покажу, запросто «Сэсэ-сээр» напишешь.

Но показать «сэ» он не успел. Дверь в нашу комнату без стука распахнулась, и вслед за бабушкой вошло очень много народа. Наверное, весь наш Почтовый переулок.

— Вы тихо сидите, — шепнула нам бабушка, — собрание у нас будет. Чуркина говорит: у тебя площадь позволяет. Боятся, что ей натопчут...

Собрание долго не начиналось. Многие сначала сходили за своими стульями. Нашу единственную табуретку бабушка obtёрла мокрой тряпкой и пододвинула незнакомому человеку в пенсне.

Когда все собрались, он встал и заговорил:

— На крутых поворотах истории наш народ всегда проявлял беспримерное мужество и высокую сознательность. И теперь, в это трудное время...

— Здорово! — подтолкнул меня Петька. — Как радио шпарит! Тебе видно?

— А смотри, какая тень скачет, как футбол!

Действительно, по стене от кулака, которым размахивал говоривший, прыгала большая круглая тень.

Мы начали её ловить и перестали прислушиваться к голосам взрослых.

Но вот эта тень исчезла — незнакомец начал что-то записывать и низко наклонился над столом. Дядя Вадим снял обшитую кожей ушанку (все сидели не раздеваясь — так было холодно) и сказал:

— Знаете, бойцу она нужней. Я тут рядом живу. Дойду как-нибудь. Да у меня ещё с финской войны форменная осталась... — И ушёл домой без шапки.

И все выходили и возвращались с чем-нибудь теплым. Домкомша Чуркина помогла незнакомцу унести два больших узла с собранными вещами.

* * *

Постепенно все посторонние разошлись. Остался лишь Коляда. Ещё в начале собрания он привалился спиной к печке и теперь спал так крепко, что ни разговоры уходящих, ни хлопанье дверей не смогли его разбудить.

— Ишь ты, ничего его не трогает, — сердито усмехнулась бабушка. — Какой-то кусок мяса!

Она терпеть не могла Коляду и за глаза называла его то проклятым, то проклятым. Но показывать ему свою неприязнь открыто было нельзя — обидится и оставит без угля.

И бабушка мягко подтолкнула похрапывающего старика:

— Вставай, вставай, Коляда!

Он открыл глаза, недоумённо огляделся и спросил:

— Партейный-от ... ушёл?

— Ты бы спал больше. Давно ушёл.

— А чего мне не спать? У меня не семеро по лавкам. Это вы расплодились, а теперь маетесь.

— Ладно уж, — примирительно сказала бабушка. Она видела, что Коляда не в духе. — Ты бы вот лучше печь посмотрел, задымила что-то. Ты свою хорошо сделал.

— Дымит — значит, в ей тяги нет. — Старику похвала польстила. — Только теперь не наладишь. Глины неоткуда взять — всё к чертям промерзло.

— Да по глине ходим, — не вытерпела бабушка.

— Ходим по земле, — важно возразил Коляда. — Сверху всего идёт земля. Потом щебёнка. Потом глина. Потом маргалец... А платить — хлебом будешь?

— Что ты! Я ж тебе и так за уголь одну карточку отдаю. Как, по-твоему, детей совсем хлеба лишить?

— Ладно, приду завтра, — наконец согласился Коляда.

Наутро он разобрал по кирпичику всю печку. Постукивал по ним ребром мастерка и пел бессмысленную какую-то песню:

В заграницу ходи-и-ла-а,
Спирто-но-о-сила,
Эхма...
В воду тожа-а бро-о-си-ла-а,
Восемь банок пото-пи-ла-а.

Потом начал класть печь и трубу заново.

Брызги раствора разлетались по всей комнате. Окна стали от них в крапинку. Труба вышла косо и заметно покачивалась.

— Не памятник, простоит! — заверил бабушку Коляда. — Век ещё вспоминать меня будешь! — И вышел, сильно хлопнув дверью.

И тут же труба закачалась ещё больше, резко наклонилась в одну сторону, затем, словно раздумав, выпрямилась и вдруг со странным грохотом рухнула вниз.

— Вот тебе и памятник! — всплеснула руками бабушка и бросилась за Колядой. Но тот не вернулся — лишь посоветовал найти водосточную трубу и поставить вместо прежней.

Вечером к нам заглянула Мариша. На этот раз бабушка не могла угостить её чаем.

— Вот полюбуйся, Маришенька, — причитала она, — что этот варвар устроил. Но я-то, я-то хороша. Кому поверила? У человека ни стыда ни совести, а я к нему за помощью.

— Знаю я его, басурмана, — соглашалась Мариша. — А что, Александровна, у Сойкиных под

балконом есть такая труба... Давай я тебя подсажу? Дети, чай, совсем озябли?

— Да что я, белка или девочка по стенам лазать? Нет, ты посмотри, Мариша, как всё складывается. Думала ли я, что с двумя крошками останусь, да мерзнуть, да унижаться будем перед всякой мразью. Были бы у ребят родители (это бабушка говорит шёпотом, остальное опять громко)... Отец сам пелёнки гладил, я даже обижалась. Знал бы он, как всё получится.

— Война, Александровна.

— Война войной. Да не всё же на войну валить... Чуркина вчера — тоже язва порядочная — сдай ты, говорит, детей в приют. Ну, я ей ответила! Так ответила, что она готова была сквозь землю провалиться. Если, говорю, вы не хотите на всю жизнь стать моим врагом, не троньте моих детей! Чтоб я их кому-то отдала! Да там и одеялка вовремя не поправят. Там и без моих пруд пруди! Легко, говорю, вам советовать, Екатерина Михайловна. У вас козы. Вы всю жизнь для себя только живёте.

— Не рабливала она, — замечает Мариша. — В старое время шляпницей побыла немного, денежек прикопила. Тут как раз нэп. Она и развернулась. Муженька, прапорщика бывшего, — в сумасшедший дом, сама в лавочку торговать. Потом нищенкой прикинулась. Вот и живёт.

— А я так думаю, Мариша, — бедные это всё люди. И её, и Сойкиных взять, и Коляду. Как сыр в масле катаются, а война пройдёт, кто их вспомнит? Всё они достанут, всего накупят, а честности

где возьмут? Самое-то большое богатство! Помню, мама моя ещё говорила: мы люди бедные, но честные...

— Ничего, Александровна, — говорит Мариша. — Будет и на нашей улице праздник. Крест святой даю.

— Сама так ребятам говорю, — кивает бабушка. — Только скорей бы уж... А то пока заря взойдёт, роса очи выест...

* * *

Коляда так и не пришёл чинить печку. Бабушка укрыла нас потеплее и с заплаканным лицом ушла на работу.

Но вскоре она вернулась. С ней был румяный, с бельмом на глазу парень.

Торжественно, будто это был генерал Ватутин, бабушка сказала:

— Вот товарищ Хренов. Он нам печку исправит.

Она ушла, а товарищ Хренов принялся за дело. Месил глину, дышал на измазанные ею пальцы и, покуривая тоненькие папироски, спрашивал:

— Ну, как живёте-можете, орлы?

Мы отвечали ему с подобающим в таких разговорах достоинством:

— Ничего, помаленьку...

Но он, видимо, не верил, потому что целый его голубой глаз глядел на нас грустно и задумчиво.

— Ничего, орлы. Я тоже без отца рос. И ничего, вырос. Война кончится, я учиться пойду. Я книжки люблю читать — научные и переживательные...

Вечером оба «орла» порхали по хорошо протопленной комнате. Нашему счастью не было конца. Мы поджигали в печке прутики от веника и размахивали ими над головой.

— Сумасшедшие, — смеялась бабушка, — дом сожжёте!

— Не сожгём, — отвечали мы и, взявшись за руки подобно двум певцам на рисунке в «Калевале», раскачивались и приговаривали:

Не сожгём, не сожгём,
Всех фашистов перебьём.
Не сожгём, не сожгём,
Всех фашистов перебьём.

Бабушка тоже была рада.

— Тепло — это жизнь, — философствовала она. — Всё-таки свет не без добрых людей. Прихожу сегодня к нашему начснабу, а он мне: «Эх ты, горе луковое! Сказала бы сразу». И на Хренова указал. Да ещё пообещал горбушу солёную к Октябрьской выписать...

Несколько дней у нас было так тепло, что мы с Петькой могли бегать по полу босиком. Потом Коляда не стал давать уголь.

— За старую карточку ты всё выбрала, — загибая короткие с неровными ногтями пальцы, пояснил он бабушке. — Десять дён — десять вёдер.

— Скажи котелочков, — вздохнула бабушка. — Разве это вёдра?

Коляда обиделся:

— Могу и такие не давать. Я через этот уголь, может, срок зарабатываю. Вас только жалею, а то бы и не стал пачкаться. Ну-ка, ты ступай в лес, да навали дров, да вывезти их машину достань...

— Да кто тебе что-то говорит? Подумаешь, как его обидели. На вот карточку, возьми, — и бабушка протянула старику скрученную в трубочку полоску-десятидневку.

Коляда её развернул, долго разглядывал, опять скрутил и лишь тогда пересыпал уголь из своего маленького в большое бабушкино ведро.

— Неси с богом.

Но не успела бабушка и на крыльцо подняться, он догнал её:

— Слышь, карточку-то куда дела?

— Тебе отдала. Ты что, рехнулся?

— Я-то в своём уме. Не брал я её!

— Как же не брал, когда я тебе её на стол положила, рядом с тарелкой.

— Ну, положила, — вспомнил Коляда. — Да где же она есть?

— Это тебя надо спросить.

— Меня спрашивать нечего!

— Чего ж ты от меня хочешь?

— Карточку! Или уголь возьму!

— Коляда!

— Шестьдесят лет Коляда. Чего уставилась? Я в чулан вышел, а ты цап-царап её со стола. Меня на мякине не проведёшь!

И он самодовольно погладил свою чёрную, без единого седого волоска бороду.

И тут к бабушкиным ногам упала скрученная трубочкой карточка.

— Да ты, бабочка, постой, — заметив выпавшую из собственной бороды десятидневку, смутился Коляда. — Стой, говорю! Думал — обман. Весь мир на обмане держится!

Но бабушка уже ничего не слышала. Она вбежала в комнату и лицом вниз бросилась на кровать. Плечи её вздрагивали

— Ребята, — с трудом выговорила она, — пылинки чужой... ниточки не взяла... какие бы вы голодные ни были...

Мы с Петькой сильно испугались.

* * *

И ещё один раз той зимой нам стало жутко. Бабушка уходила на работу после обеда («после обеда» — это не когда что-нибудь поешь, а когда маленькая стрелка ходиков на двух, а большая перешла на цифру 12).

Бабушка шила кому-то платье. За неуплату нам отключили свет, и она торопилась сделать всё засветло. Уходя, она оставила нам спички, чтобы разжечь керосинку, как только стемнеет.

— Смотрите, зря их не жгите. Будьте умницами! Я, может, свечку достану...

— Будем, ладно, — заверил бабушку Петька. — Только ты скорей приходи.

Едва отскрипели под бабушкиными валенками половицы в сенях и снег за окнами, он сказал мне:

— Давай съедим хлеб. Хоть по граммчику...

Мы съели весь мякиш, собрали с одеяла и проглотили крошки. У нас остались корочки, напоминающие собой букву «П». Через несколько секунд «П» превратилось в «Г», а ещё через мгновение «Г» стало просто палочкой.

— Теперь у нас папиросы. Будем их курить. Так на дольше хватит.

Мы «закурили папиросы», и пар, выдыхаемый в холодной комнате, напоминал папиросный дым.

«Папиросы» быстро стали «окурочками». Их трудно было удерживать губами — так они были малы...

С хлебом покончено.

Мы вылезли из-под одеяла.

— Баба не велела бегать по комнате, — неохотно напоминаю я.

— Откуда она узнает? — Петька уже подскочил к столу и взял неприбранный бабушкой мелок. Им она делала разметку.

— Сейчас я нарисую, знаешь что? Утопленника. Как он стучится под окном и у ворот.

Мелок невелик. Надвое его не разделишь — поэтому рисует только Петька, а я внимательно слежу за его работой.

У него всё хорошо получается. Когда у нас были краски, он часто рисовал войну. Горели на листе бумаги подбитые самолеты и подожжённые домишки, струилась из ран кровь. Петька увидел снегиря, захотел его изобразить, старательно вывел крылышки и головку. И вдруг горько вздохнул — не было красной краски. Вся она пошла на кровь и пламя, и снегирь так и остался с белой, нераскрашенной грудкой.

Этот рисунок выпросил и унёс в школу Димка Сойкин, и учительница поставила ему «отлично»...

Некоторое время я наблюдаю за рисующим братом. Затем начинаю складывать из оставшихся спичек колодец. Я закрываю его сверху крышкой из чиркалки, дую на него — нет, не рассыпался! — и, довольный, опускаю указательный палец в стоящий тут же стакан с постным маслом. Облизываю — вкусно!

Это масло все называют «масло с узбеком». Говорят, что какой-то узбек с чайником полез за маслом в цистерну и упал в неё. Якобы там на дне его и нашли, когда масло выпустили. Многие этому верят и отоваривают карточки американским маргарином, который намного хуже...

— Петька! — обрадованно толкаю я брата. — Это ведь ты узбека масляного рисуешь? Верно?

— Ага, — кивает Петька. — Я тебе только не говорил. На, смотри...

С фанерной дверцы тумбочки точечками-глазами глядит на меня утопленник. Одной ноги у него нет — не поместилась. Зато на туловище у него не меньше десятка пуговиц.

— Петь, нарисуй ему саблю, — прошу я.

— Не-е, — возражает брат, — сабля ведь железная, и она утонула совсем.

— Ну хоть чайник, с которым он лазал.

Петька великодушно выполняет мою просьбу.

— Готово! — говорит он, делая последние штрихи. — Утопленничек! Хороший?

— Мировой! У, мощно! — восхищаюсь я.

— А это ещё мировее, — говорит Петька и толкает мне в рот тёплый кусочек хлеба.

Я не весь съел. Я за майку спрятал.

Петька часто так делает: спрячет немного своего хлеба или сахара, а потом даёт мне.

Пора зажечь керосинку — в комнате сумерки.

Я начинаю выдвигать слюдяное блюдечко и накручивать фитиль.

Петька ищет спички.

— Вода! — вдруг испуганно кричит он. — Ты пролил воду на спички!

У меня сразу пересохло во рту.

— Это масло, — с трудом говорю я. — Это не я, это оно само как-нибудь вылилось. — И я начинаю реветь на всю комнату.

Петька долго и тщетно старается добыть огонь. Чтобы не заплакать самому, он пытается меня успокоить:

— Ладно, не стони. Не расстраивай меня. («Не расстраивайте меня», — говорит наша бабушка, когда мы часто просим поесть).

Я ещё всхлипываю:

— Да, а чо баба скажет за масло? А как мы будем в темноте?

— Она ничего не скажет. Она скоро придёт. Она, наверно, уже идёт. Может, в хлебный зашла.

Я вытираю слёзы и тут вижу, как что-то белое и отвратительное начинает двигаться к нашей кровати.

— Петька, идёт! — Я хватаю в темноте и крепко сжимаю Петькину руку.

— Кто? — брат на всякий случай прижимается ко мне.

— Утопленник! Гляди...

Меловой рисунок на дверке тумбочки призрачно белеет. Ветер, забравшийся в дом сквозь треснувшее стекло, раскачивает её, и кажется, что одноногий утопленник действительно передвигается.

— Баба! — кричу я и прячусь под одеяло.

— Баба! — кричит Петька и лезет ко мне.

Он стаскивает с меня одеяло, и я снова вижу пританцовывающего узбека. Я закрываю глаза. В ушах как назло звучит всё время одно и то же:

И утопленник стучится
Под окном и у ворот.
И утопленник стучится...

Что-то шуршит и скребётся за дверью.

— Когтями он, — шепчу я, не открывая глаз.

И утопленник стучится...

— Стучит! — орет благим матом Петька. У него стучат зубы. — Настоящий!

Я тоже слышу стук в дверь.

— Да откройте же, ребята! Петя! Лёня!..

— Баба пришла!

Мы бросаемся к двери и вдвоём откидываем крючок. Бабушки в темноте не видно, но это она, наша баба.

Мы прижимаемся к чему-то холодноватому, пахнущему, как принесённые с мороза простыни.

— Дурёшки вы мои! — Добрые бабушкины руки находят нас. — Ну, чего так испугались? Ох, горе...

А со мной Индус. Пришёл вас проведать. Видите, какой умный пёсик... Ну, чего вы? И чтоб этим монтерам...

Баба, наша баба...

* * *

И вот — весна!

Она словно догадалась наконец, как нам с Петькой надоело сидеть дома. Радостно, не боясь, что им попадёт от заморозков, лепечут ручки. Солнышко пригревает всё сильнее.

Уже не замерзает в кастрюльке оставленный на завтра суп...

Чуркина принесла бабушке подрубить красный сатиновый флаг — скоро Первое мая!

— И как только таким людям разрешают прикасаться к флагу! — ворчит бабушка, когда домкомша уходит.

А солнышко слепит бабушкины глаза, она перестаёт хмуриться и весело говорит нам:

— Марш на улицу! Хватит взаперти сидеть.

Мы с Петькой берёмся за руки и выбегаем на крыльцо. И все цвета, запахи и звуки счастья обрушиваются разом на наши маленькие, как ручные часики, сердца.

Прямо против нашего крылечка на гладко оструганном бревне сидят девочки. Бревно с одного конца заострено — это будет новый электрический столб. Старый подгнил, его спилили вместе с приклеенным к нему объявлением: «Потерялся жеребёнок...». Теперь на его месте лишь оранжевый срез пенька.

Нам немного жалко этот старый столб: он удивительно гудел — приложишь ухо, и неохота отрывать.

Но жалость наша мимолётна. Её тотчас вытесняет интерес к новому столбу: к его смолинкам и овальным сучкам. Словом, неосознанный ещё закон обновления или равновесия, по которому что-то теряешь и одновременно обретаешь, обращается к нам с Петькой именно светлой своей стороной.

Девочки шьют кисеты. Только одна Ленка-маленькая не шьет. У неё «не работает» правая рука.

Зимой Ленка несла от Чуркиной баночку молока и на крыльце поскользнулась. Баночка разбилась, осколком перерезало сухожилия на запястье. Дядя Вадим, оказавшийся поблизости, подхватил девочку и отнёс в военный госпиталь — он совсем недалеко от нашего двора.

А на крыльце долго лежали осколки, красные, как яблоки на наклейке от баночки. Мы с Петькой бегали смотреть, а бабушка говорила, что у Чуркиной молоко злое.

Руку в госпитале, как рассказывала потом сама Ленка, «зашивали, зашивали, уж так прямо зашивали, а кровь всё течёт». Ленка вспоминала об этом и становилась бледной, как тогда на крыльце у разбитой баночки.

Постепенно она научилась всё делать «левой»: мести пол, колоть лучинки... Но положить ровно стежок на материале она ещё не может. Морщится и возвращает иголку хозяйке.

— Нет, не выходит!

На минутку мы с Петькой уходим домой — может, бабушка что-нибудь сварила? А когда возвращаемся, девочки громко о чём-то спорят:

— Лучше ты попроси... тебя он знает.

— Нет, лучше ты. В госпиталь он тебя носил? Тебя!

Больше всех суется длинная Лилька. В руках у неё по белому лоскутку. Она взмахивает ими, как птица крыльями, и всё приговаривает:

— Ой, девочки, неудобно, ой, девочки, неудобно...

Но вот во двор выходит дядя Вадим, все к нему бросаются и в один голос затаивают:

— Дя-а-дя Вадим, дядя Вадим... Нарисуйте!

— Мне уточку!

— Мне лодочку!

— Васильки! Васильки!

— Кремль, Кремль, Кремль, Москву-у!

— Нарисуйте, дядя Вадимчик, миленький. А мы вышьем и раненым в госпиталь отнесём.

Дядя Вадим хмуро взглянул на часы, задумался, махнул рукой:

— Так и быть, красные девицы. Сослужу вам службу верную. Будет и Кремль вам и, — подражая длинной Лильке, неожиданно тоненько выкрикнул: — и васильки, васильки!

Девочки засмеялись, захлопали в ладоши.

— Лёня, — подозвал меня художник, — сбегай ко мне. Возьми карандаш и фанерку какую-нибудь или книжку, чтоб подложить. Одна нога здесь — другая там!

Он начал с васильков. Лилька от счастья так и порозовела.

Закачались на карандашных волнах уточка и парусник... Кремль получился лучше всего — со звездой, с часами — как настоящий. Над Кремлем сияло солнце.

Дядя Вадим дорисовал последний лучик и вдруг закашлялся. Упал и покатился по земле карандаш. Девочки присмирели, потупились. Ленка-маленькая побежала за водой. Принесла, расплескивая, в жестяной кружке.

Когда приступ кашля прошёл, на втором лилькином лоскутке дядя Вадим сделал несколько резких штрихов. И получилась трубка. Из неё вылетала прядка дыма, извивающаяся в буквы.

— «Выкури фрица!» — прочитал Петька. — Вот здорово!

— Дядя Вадим, — защебетали девочки, — спасибо!

А художник уже крупно шагал со двора, придерживая рукой борта своего серого поношенного пальто.

— Дядя Вадим, спасибо!

— За уточку!

— За лодочку!

— За Москву-у!

— Дядя Вадим, за «Выкури фрица!..».

* * *

В тот день я ещё раз побывал в доме художника. Нужно было отдать забытые во дворе карандаш и книжку. В комнате, где на низенькой кровати

ти лежал художник, резко пахло каким-то лекарством.

Мне показалось, что дядя Вадим спит, и я уже хотел выйти, но он окликнул меня:

— Ты карандаш принес? Ну-ка, давай его сюда.

Он взял его, отвернулся к стене и на приколотой над подушкой карте нарисовал маленький флажок. Новый флажок был значительно левее всех старых.

— Хорошо, — улыбнулся дядя Вадим. — Я ещё увижу победу!

Ему стало тяжело, над бровями заблестели капельки пота.

— Ступай. Карандаш возьми. Петя у вас рисует... Книжку бабушка пусть вам прочтёт. Это про фарфор... Открытие...

Петька очень обрадовался карандашу. На газете, которой был застелен стол, он тут же нарисовал бегущего человека. Уши человека были похожи на катушки от ниток.

— Будем играть в сатратников, — сказал Петька и показал на свой рисунок. — Во, один сатратник есть. Это будет Красин, потому что он красный.

Петька перевернул гранёный сине-красный карандаш, и через минуту поверх серого типографского шрифта синел Синин. У Синина совсем не было ушей, но был на боку наган.

— Сейчас мы их вырежем, и они пойдут на фронт. — И Петька пустил в ход бабушкины ножницы.

Поначалу игра не удавалась — у бумажных соратников подгибались ноги. Нам приходилось поддерживать их за головы.

Потом бабушка сварила клейстер, чтобы подклеить журналы мод, и мы наклеили соратников на твёрдые корочки от книг. И всё вышло чудесно.

Сперва я был репродуктором и говорил:

— Внимание, внимание! Говорит Москва. От Советского информбюро. Сегодня наши опять били фашистских захватчиков. Взяты трофеи и пушки.

В это время Синин и Красин прислонены к стене: они будто слушают радио.

Затем Петька поворачивает Красина лицом к Синину и говорит, будто это сам Красин:

— Синин, у нас в фэзэу был обсмотр, и скоро меня возьмут в армию. (Так недавно говорил Вальке Степанову его старший брат Генка).

— А у нас чо-то ещё не было. (Так отвечал семилетний Валька своему брату).

— Синин, я уйду — ты мне будешь письма писать?

А «радио» передаёт:

— Войска 3-го Белорусского фронта опять бьют захватчиков и взяли в плен три пушки.

Красин обнимает Синина. Две картонки сближаются вплотную.

Петька поёт:

Синее море,
Белый пароход.
Сяду, поеду
На Дальний Восток.

— Лёнька, делай быстрее лодочку, а то он так уедет! — и продолжает петь:

На Дальнем Востоке
Пушки гремят,
Военные солдатики
Убитые лежат.

«Убитый» Красин падает на одеяло.

Мама будет плакать,
Слёзы проливать...

— Ленька! Где взять маму, скорей думай!

Но я ничего не могу придумать. У нас у самих только бабушка. Она-то и приходит нам на выручку:

— Вот эту тетю в кимоно вам вырезать?

— Вырежи, баб. Только ручки не отрежь.

Так у Красина и Синина появляется мама. Сейчас она начнёт проливать слёзы, как это делала Валькина мать, когда Генку провожали на вокзал...

Но игре нашей не суждено было завершиться. Пришёл Димка Сойкин. Шёпотом, чтобы не слыхала бабушка, стал уговаривать нас:

— Айдайте в кинуху. В парке крутят. Маленьких так пускают. Фэсная, про Чарличаплина.

...В голубой с полукруглым окошечком будке у входа Димка купил себе билет, сдачу спрятал в карман, а нам крикнул из-за спины билетерши:

— Обманули дурака на четыре кулака!

Растерянные, мы остались перед парковой калиткой. И вдруг откуда-то издали донёлся весёлый и тоненький мальчишеский крик:

— На ко-бы-ы-ле-е! На ко-бы-ы-ле-е!

И через минуту-другую верхом на дранке к нам подскакал Витька Майоров.

— Эх вы, люди-лошади! Там дыра — первый сорт, а они тут стоят.

Мы бросились за Витькой и вскоре очутились перед проломом в заборе.

В парке пахло полынью и растоптанными стаканчиками от мороженого.

— Вот так, по заборной книжке, — подмигнул нам Витька. — А с Димкой вы не играйте — он гад. Сейчас я спрячу свою лошадь, пускай она попасётся, и мы пойдём...

И вот мы смотрим на маленький экран, сморщенный так, будто он вот-вот чихнёт. Кино ещё не началось, по экрану только проскальзывают тени рассказывающихся зрителей.

Приходит и садится впереди нас Димка. У него были лишай, теперь они прошли, но волосы на затылке растут так, что кажется, будто у Димки не одна, а несколько макушек.

Я дергаю его за рукав и говорю:

— А на пятый кулак вышел Димка дурак. Лишай ты — больше никто!

Он выдергивает рукав и переходит на лавочку подальше.

Наверно, я задремал. Очнулся, когда Петька и Витька заорали:

— Ура! Ура! Вот даёт!

По экрану, размахивая сверкающей саблей, летел усатый конник.

— Чапаев, — умиленно выдохнул Петька. — Он сперва утонул, потом выплыл.

Объяснив мне суть фильма, брат опять закричал «ура!» и соскочил с лавочки.

Сзади на нас зашикали:

— Вы, зайцы, сидели бы ниже травы. Приличным людям и отдохнуть нельзя!

Ненадолго мы притихли.

Но когда появившийся на экране Чарли Чаплин сел на раскаленный уголёк, мы не смогли скрыть своего восхищения:

— Вот даёт!

— Ему больно, а он смеется!

— У него тоже на «Ч» фамилия, как у Чапаева...

— Ага... и усики тоже...

Кино кончилось. Было совсем темно. Витька искал в траве дранку. Мы пошли домой.

Дома нам влетело за уход без спроса. Молча мы съели гороховый суп и легли спать. И уже в постели шёпотом договорились с Петькой, что возьмём Чапаева и Чарли Чаплина в свои сатратники.

* * *

— А мороженое — из молока, — сказал я Витьке Майорову. Тот неопределённо пожал плечами.

Тогда я подошёл к Димке:

— Мороженое, которое продают в парке, делают из молока.

Димка ни капельки не удивился. Он зевнул и ответил:

— Вчера мамка на сладкое делала. Каждому по десять порций. Фэсная штука.

И никто не удивился, что я знаю тайну мороженого. А мне так хотелось всем рассказать, как мы с Петькой её узнали. Вот так же в подаренной художником книжке радовался Виноградов, открыв русский фарфор...

Ах, эти слова: секрет, тайна, загадка. Как бешено колотится от них детское сердце! О, пыливость бесчисленных «почему?». О, эта рассеянность: незавязанные шнурки, рубашка, надетая наизнанку... Какими похожими делаете вы детей и великих учёных! И не тот ли открывает фарфор и новые звёзды, кто на всю жизнь сумел в душе остаться ребёнком?..

Бабушка дала нам десять рублей. Мы бросились в парк. Усатая неопрятная мороженщица показалась нам прекрасной феей. Замерли носик к носику алые уточки весов, и «фея» протянула нам на блюдечке сто граммов чуда.

Мы взяли мороженое и уселись на тротуар. Петька поперёк белой горки провел ложечкой черту, чтобы было поровну. Потом мы стали думать, кому есть первому: ложечку нам дали одну. Пока думали — мороженое растаяло. Теперь не надо было ложечек. Мы по очереди втягивали губами белую сладкую жижицу. Сделали по три глотка, и я понял, что мороженое — это молоко, но его сперва заморозили. Я сказал об этом брату. Он согласился:

— Только не козьё молоко...

— Конечно, не козьё. А может, и козьё, только от самой лучшей козы.

— А помнишь, — спросил Петька, — как мы осколочек от кружки сосали? Думали: раз он бе-

лый, так из него молоко пойдет, если долго сосать. Дураки ведь тогда были, правда?

— А помнишь, как мы резиночки из трусов жевали, чтоб они, как сапоги у мильтона, который с Димкой живет, скрипели? Идем по лестнице и жуем. А Димкина матушка думает, что это мильтон в новых сапогах идет. Выскочит: а-а, это вы... Здорово мы ее обдували!

Когда мы вернулись домой, бабушка спросила:

— Ну, и как ваше мороженое? Ели?

— Ели, баб. Знаешь, повкусней чуркинского молока!

— Я думаю, — усмехнулась бабушка. — Воду туда не добавляют... Государство...

* * *

Говорили, что когда-то — нас с Петькой ещё и на свете не было — жил в нашем доме знаменитый краевед и писатель*.

Вернее, жил он в тайге, в палатках и шалашах, но, приезжая на несколько дней по делам в город, останавливался в нашем доме. Тогда все ночи светилось угловое окошко, и за ним сухощавый седой человек что-то быстро записывал в маленькие блокнотики.

Так или иначе, но когда Чуркиной досталось от эмпэвзошников за непорядок на нашем чердаке, а от Чуркиной получил нагоняй Коляда, он, ворча что-то о «гнилой интеллигенции», выбросил из круглого слухового окна большой фанерный ящик с

* В.К.Арсеньев.

запыленными книжками и рукописями. Их сразу растащили на растопку.

Нам с Петькой досталась толстая, в коленкоре, тетрадь. Это были изумительные рассказы о семицветных фазанах, бедных китайских фанзах, о женьшене и легких, как сухой лист, оморочках...

Часто мы ложились спать, не поужинав. И бабушка, чтобы хоть как-то скрасить вечер, читала нам эти рассказы.

И одно в них нас всегда поражало: доброта суровых на взгляд охотников.

Любой из охотников, переночевав в сторожке, оставлял для других крупу, растопку и спички. Припасы лежали до тех пор, пока их не находил усталый и голодный путник. Тогда в сторожке пахло чуточку подгоревшей кашей.

Ох, как хотелось нам с Петькой найти такую избушку! Мы бы притащили крупу бабушке, она бы сварила мировую кашу. А потом, когда выдадут паек, можно отнести на место свою крупу.

Мы засыпали с мечтой о съедобной находке. Нам снилась тайга и в ней — сторожка из чёрных хлебных буханок. Труба у сторожки была из белого хлеба. Из трубы шел дым — кто-то варил кашу.

Иногда бабушка не читала нам, а пела. Много непонятных и грустных песен бабушка слышала в молодости в городском театре. Там она работала в костюмерной.

На креслах в комнате белеют наши блузки.

Вот вы ушли, а день так пуст и сер...

Грустит в углу ваш попугай Флобер.

Он говорит: жамэ, жамэ...

Он всё твердит: жамэ, жамэ, жамэ —
И плачет по-французски.

— Кресло, — наутро пояснил мне Петька, — это совсем как стул, только по бокам ручки. Помнишь, у нас было кресло?

— Ну, и где же оно сейчас?

— Сожгли же! — радуясь, что может объяснить, говорил Петька. — Помнишь, кашу варили?

Каша, каша, каша. Никуда не деться от этого слова. Я уже не помню, что хотел спросить у Петьки, кто такая Жамэ. Я думаю о каше. Но не об охотничьей, а о той несъедобной, которую сварила бабушка, когда сожгли кресло.

Грустная и простая история. Бабушка забыла очки, и на рынке ей вместо манки подсунули казеин — клей для фанеры.

— А всё-таки мы когда-нибудь что-то найдём, — уверенно говорит Петька, — Убежим в лес, чайник с собой возьмём, Индуса...

— Ничего мы не найдём. — Я не разделяю его уверенности. — Жди больше!

Однако я ошибся. Вскоре фортуна нам улыбнулась.

В тот день мы понесли на дальнюю Волочаевскую улицу сшитое бабушкой платье. Толстая, с двумя подбородками заказчица обещала за работу вилок капусты и немного рису. Хозяйки не оказалось дома, и мы возвращались назад молчаливые и хмурые. Петька, в сердцах пинал придорожный репейник. И вдруг уже недалеко от нашего переулка, наклонился над чем-то блестящим и,

закричав «чья потеря, мой наход!», пустился бежать так быстро, что я намного от него отстал.

Когда я очутился в комнате, бабушка стояла у стола, схватившись руками за голову. На столе лежала Петькина находка — металлическая коробочка. Коробочку уже раскрыли, в ней поблескивали серебряные маленькие кубики.

Петька сидел на кровати опустив голову.

— Вот, полюбуйся на своего братца, — сказала мне бабушка и обернулась к Петьке: — Да ты можешь понять, дурья твоя голова, что сейчас нарочно бросают отравленное. Враги, шпионы... Бантики ещё завяжут для приманки. В городе висят специальные объявления.

Петька только пыхтел в ответ.

— Сейчас же мой руки. И ты, тихоня, тоже, — бабушка подтолкнула меня к умывальнику.

— Там «пищепром» написано, — подставив руки под сосок умывальника, пробурчал Петька. — Значит, их едят.

— Нет, вы только посмотрите на него, — возмутилась бабушка, — он ещё не доволен, что остался жив!

— А самой можно в руки брать? — не унимался Петька. — Можно, да?

— Это уж не твоё дело! — сердито ответила бабушка. Она действительно держала в руках коробочку. Затем, высыпав ее содержимое на стол, стала осторожно разворачивать упаковку одного из кубиков.

Мы как зачарованные следили за бабушкой. Вот она бросила очищенный кубик в кружку, растолкла

его ложкой, льёт из чайника кипяток. Вот отгоняет губами густой ароматный пар. Резко отставила кружку... Что она делает? Всегда она давала есть сначала нам. А тут вдруг, схватив только что отодвинутую кружку, выпила всё, что в ней было.

— Всё не то нам, не то себе, — сказала бабушка и села на кровать, — не смейте прикасаться к кружке! Идите сюда, ребята...

Мы нерешительно приблизились к ней. Она была почему-то очень бледна.

— Садитесь, крошки вы мои, — бабушка мягко привлекла нас к себе и обоих стала гладить. — Вы ведь не забудете свою бабушку?

Она неотрывно глядела на часы. Часы были такие же, как всегда, так же медленно двигалась большая стрелка, такой же неподвижной казалась маленькая.

Я заплакал. Бабушка вздрогнула и повернулась ко мне.

— Ох, дура я старая. Просто кто-нибудь потерял... Да что вы, ребята, плачете? Надо же было как-то проверить... Разве я бросила бы вас на произвол судьбы?

Она встала и, пошатываясь, подошла к столу.

— Конечно, кто-то обронил, — повторила бабушка. — Сама я чего только не теряла! Вы вот что, ребята, посидите тут — я только Маришку крикну. Ей и не снится такой бульон.

В этот день мы с Петькой выпили по три кружки обжигающей солоноватой жидкости, похожей на мясной суп без засыпки. Первую кружку с хлебом, остальные — так.

— Настоящий бульон, — восхищалась бабушка.

— Совсем как до войны, — поддакивала Мариша.

Мы с Петькой не знали, какой был до войны, но верили, что этот — настоящий.

* * *

Шло лето. Майки наши из голубых превратились в белые. В приямках возле домов поспевал паслен. Под окном Коляды его было особенно много.

Мы ели крупные, сладкие ягоды и заглядывали в комнату дворника. Стены её были сплошь оклеены афишами.

Время от времени, когда таинственный остров или тощие ноги багдадского вора покрывались клопиными пятнами, Коляда заменял старые афиши ещё более заманчивыми новыми.

Хорошо помню тоненькую принцессу с золотым поясом, канонерку «ТЭ-9» и девушку чуть постарше принцессы. Девушка сидела на тракторе и снятым с головы платочком махала бойцу в серой буденовке.

Мы лакомились последним паслёном, когда рядом с принцессой и трактористкой появился красивый цыган. Правда, тогда мы ещё не знали, что он цыган. «Ромэн» в углу афиши считали его именем.

В то лето я отведал и других ягод. Ленка-маленькая ездила на Красную речку к тётке. Тётка поила Ленку парным молоком, гладила шрамик на

её руке и называла племянницу «кровь моя горячая», «ватрушечка сдобная» и «вылитая сестричка». На прощанье она ещё раз сказала «вылитая», усадила девочку в кабину попутного «студебеккера», а на чумазую Ленкину шею надела ожерелье из алых ягод шиповника.

Я был первым, кого, вылезая из кабины, увидела Ленка. Одну за другой мы съели все шипижины. От тёткиного подарка осталась лишь влажная ниточка.

Мне очень понравились ягоды, и я пообещал Ленке всю жизнь за неё заступаться.

На другой же день Ленка прибежала к нам и, глотая слёзы, сообщила, что мальчишки её «повсякому» дразнят.

Я схватил с подоконника ржавую гранату-лимонку, которой бабушка размалывала крупную серую соль, и мы выбежали во двор.

Ленкины обидчики даже не взглянули на нас. Все слушали Димку Сойкина.

— Вот, — упрекнул я Ленку, — говоришь, дразнятся. Никто вовсе и не дразнится.

— Да-а, — возразила она. — А потом дразнились: Ленка-пенка, девчонка-пелёнка и ещё на букву «зэ»... А смотри, какой у Димки бантик! Димка тоже дразнился.

На Димке была новая рубашка. Под воротником, как раскрывший крылышки махаон, чернел бант. Димка держал руки в карманах и важно говорил:

— У нас... Как его?.. Банкет! Все папины начальники. Во, слышите, поют...

— Гуляют, да? — переспросил Валька Степанов и смешно вытянул шею. — Пьют они, забодай меня комар!

— Ну, пьют, — согласился Димка. — А ещё, — он многозначительно посмотрел на всех нас, — танцуют!

— Пляшут, да? — опять спросил Валька.

— Нет, танцуют. Мама говорит, что пляшет только голытьба.

— Это какая-токая немазаная-сухая?

— Ну, — Димка задумчиво почесал переносицу, — все уборщицы, сторожа...

— Как у меня мамка, — догадался Валька. — Сторожит она вчера злато-серебро. Идут четыре человека. Все с наганами. Сдавайся, говорят, а то хуже будет. Мамка, конечным делом, не растерялась. Ка-ак схватит трубу... Вот такую... Не подходи, говорит, порешу!

— А после? — нетерпеливо спросила Ленка. Обиду она уже забыла.

— А после они ей документики. Мы, говорят, комиссия. Вы, говорят, бдительность проявили. — Последние два слова Валька выговорил с трудом и нескрываемой гордостью.

— А моя мама будет раненых бойцов учить, — вздохнула Ленка, — на счетоводов... У которых ножек нету...

— Это чо! — перебил её Димка. — У нас артист. Из Москвы. С гитарой. Трын-брын. Все в парке живут. А он у нас. Цыган.

— Ври! — презрительно сплюнул Валька.

— Не веришь? С мамкой танцевал, вот!

— Цыган?

— Цыган!

— Чёрный?

— Чёрный!

— Цыган чёрный в трубу... — Валька складно и ругательно закончил фразу.

— Дурак сто тысяч раз, — обиделся за артиста Димка.

— А ты умный, — сплюнул ещё раз Валька, — как утка. Только отруби не ешь!

И тут я увидел цыгана.

Он стоял недалеко от нас и покачивался. Краешек гитары, которую он держал за гриф, шоркал по земле.

— Дядя Вася, дядя Вася, — также заметив цыгана, крикнул Димка. — Вот они не верят, что вы артист. Дядя Вася, сыграйте, пожалуйста.

— А-а-а, да-да... — пробормотал дядя Вася и пошёл к нашему крыльцу.

Он не играл, а, перевернув гитару струнами вниз, барабанил по её донышку пальцами и пел:

В небе-е-э звёздочка ночная-я,

В полутьме-э горит костё-ор...

Я вдруг вспомнил афишу в комнате Коляды. У человека на ней такие же волосы, нос, губы... «Ромэн», — подумал я и, наверное, сказал это в слух, потому что цыган вздрогнул и удивлённо посмотрел на меня.

— Откуда ты знаешь наш «Ромэн», хлопец? — ласково спросил он.

Он замолчал и долго сидел, опустив голову. Потом сказал тихо:

— «Ромэн», наш добрый, старый «Ромэн»... наша Родина... наша поляна... Э-эх!

Подошли взрослые. Стали просить что-нибудь сыграть. Цыган послушно кивал головой, и при этом на глаза ему падал волнистый чёрный чуб.

Потом мне не раз доводилось, и бывать в «Ромэне», и слушать пластинки, наигранные известными гитаристами-цыганами. Но то, что играл у нас на крылечке дядя Вася, оказалось неповторимым.

Как будто его пальцами перебирала струны сама война, сама невысказанная боль всех затерянных в тыловых городках людей. Людей, давно убитых многими бедами и всё-таки продолжавших жить, ибо жить надо.

...Сначала хрипло заговорили басы — нехотя, словно спросонья. У-у-у! — чёрным ртом отвечала гитара. И всё стихло. Но вот опять раздались тяжёлые мерные звуки. Точно ходит кто-то с опухшими ногами, медленно ходит по комнате, из которой вынесли все вещи.

Вдруг тоненько зазвенела струнка. Если уронить на пол блюдечко, оно так же зазвенит перед тем, как разбиться на немые черепки. Однажды я уронил белое, с синим ободком блюдце. Я помню, как оно звенело... это было мамино блюдце...

...Качнулся цыган. Капелька по щеке ползёт, а на дворе совсем и не жарко... Гладит дядя Вася струны, просит у гитары песню. И гитара добрее.

Льдинками тенькают струны, а вот и колокольчики появились, посыпались, засмеялись.

Но гитара опять за старое.

Ветер это гудит или сирена?.. Ноги чугунные ходят в пустой комнате. Почему плачет женщина? Нет, это девочка. Она похожа и на принцессу, и на трактористку, а больше всего — на Ленку-маленькую.

А кругом тревога! Окна закрывают наглухо. Одно стекло вылетает и вдребезги разбивается. А человек с опухшими ногами не может быстро подойти к окну. И в комнату врывается ветер и вой сирены. Вой... Вой... Вой... Он с каждым мигом близится, растёт и — взрываются струны! Девочка уже не плачет...

Никто больше не просил дядю Васю играть. Он поднялся. Белым, как снег рукавом закрыл лицо. Глухо сказал:

— В парке балерины... Девочки ещё... Нет пляски. Нет танца. Нет жизни. Ни черта нет! Эй, лебёдушки, говорю, взмахните крыльями! А они мне: есть, говорят, хочется, шатает нас...

Дядя Вася махнул рукой и ушёл. Не к Сойкиным, а куда-то в сторону парка.

Остальные взрослые сидели, где их застала музыка. Курили, о чём-то думали...

— Знаете, — наклонился фотограф к дяде Вадиму, — всё это в нас уже было, всё это мы сами видели, испытали... и всё-таки сегодняшняя музыка... Мне кажется, что до неё я как-то не совсем чувствовал войну, как-то почувствовал, что ли? Вы понимаете, что я хочу сказать?

— В финскую ещё, — задумчиво отозвался художник, — тащили мы с дружкой пулемёт. Кругом пули, осколки... Гляжу, у дружка всё лицо в крови. «Ранило тебя!» — кричу. Он не слышит, идёт, тащит себе... «Гошка! Тебя ранило!» Остановился. Куда? — видно, хотел спросить и — не смог. Подбородок ему оторвало... Обмяк сразу, повалился... И вот я думаю, что музыка, да и вообще всякое настоящее искусство, нам словно говорит: «Тебя ранило!». И мы слышим свою боль. Или, в другом случае, радость, грусть — смотря, что нам было сказано...

В их разговор вмешался Коляда:

— А цыган-от... Видать, с Сойкиными не того... Не остался ночевать. Здорово он, едрёна гармонь, представляет!

У Сойкиных ярко горел свет. Хлопнула застеклённая дверь, и на балкон выбежала Димкина мать. За ней сам Сойкин.

— Бей! — крикнула она ему. — Лучше совсем убей! Балыки жгу, хлеб жгу — людям отдавать боюсь! Меня такую ревновать? Да ты мизинца его не стоишь!

— К милиционеру он её ревнует, — ухмыльнулся Коляда. — Даром что милиция, а чужих баб отбивает.

— Зоя, ты меня погубишь, — шипел Димкин отец...

* * *

— Снег идёт, — сказала бабушка.

Она сидела у окна и грустно смотрела на улицу. И вдруг вскочила и, не одевшись, бросилась в сени.

Её долго не было. Наконец она пришла и сказала:

— Фотограф умер.

Фотограф умер тихо, как и жил. В войну многие так умирали. Витька болтался на стрельбище — подбирал гильзы. Фотограф прилёт и больше не встал.

Тощая фотографская кошка сбросила со стола банку с гипосульфитом. Мариша услышала, прибежала, собрала людей...

Хоронили его на следующий день. Покрыли до пояса белой марлей, сложили на груди бурые от химикатов руки.

Ещё через два дня повезли на кладбище светлый свежеструганный крест. Сразу сделать его не могли — у столяра не было материала.

На кресте меж двух перекладин было продолблено углубление для фотокарточки.

Фотографии собственной, как ни странно, у Витькиного отца не оказалось. Правда, была одна, коричневая, где фотограф снялся вместе с сыном. Не захотели их различать хоть на карточке...

Повздыхали:

— Сапожник без сапог — всегда так.

И повезли крест со двора.

И опять шёл снег. Снежинки падали на телегу, ветер их сразу же сдувал прочь. И только в углублении для фотокарточки оставались эти красивые, мягкие звёздочки.

Витьку взяла к себе Мариша.

Елизавета Ивановна, наша воспитательница, — красивая. А повариха тетя Оня — сварливая, толстая. Подбородок у неё как туго набитый кошелёк. Это та самая заказчица с Волочаевской улицы, которой мы относили платье, когда нашли кубики.

Скоро уже неделя, как мы живем в интернате. всё получилось совсем неожиданно. В начале зимы сильно простудился Петька. Только-только начатую учёбу пришлось бросить — так посоветовали врачи.

Бабушкина артель «Женское искусство» перешла на массовый пошив. Работать теперь приходилось посменно.

— И кто это выдумал? — сокрушалась бабушка. — Как я вас одних ночью оставлю?

Её уговорили устроить нас в интернат. Рядом с домом, рядом с работой — чего лучше ещё можно желать? Дети раздеты? Ну, это тоже поправимо...

И с бабушкиной работы прислали нам целый тюк одежды: пальто, курточки, брюки. Все из серой диагонали, все с железными пуговицами!

Одежду принесла высокая полная женщина. По дороге её заставили надеть противогаз, и она вошла к нам, как большая, добрая слониха.

— Ось вам подарунки, — басом сказала женщина, сняв маску с хоботом-трубкой. — Бачьте, яка гарна одёжка.

Мы надели «подарунки» и ни за что не хотели их снимать. Приходили соседи, хвалили наши обновки, называли нас с Петькой молодыми людьми.

Вечером зашла Мариша. У неё душа горела без чаю.

Мариша теперь ходила еле-еле, ноги у неё опухали всё больше, но глаза были гораздо веселей, чем раньше.

Бабушка говорила, что теперь Мариша, может быть, придёт в себя: с Витькой ей не будет так тоскливо.

Ей недавно помогли в собесе и военкомате — назначили пенсию, дали огромную и очень тяжёлую для усталой Мариши шубу.

Впрочем, шуба всё же была превосходной: густо-коричневый, с серебряной искоркой мех, из которого она была сшита, казался шелковистой травкой, которую всё время хочется гладить.

— Охоту на меня устроили, — жаловалась Мариша. — Просто беда! Шубка-то американская многим поперёк дороги стала. Сойкин прямо по пятам ходит: продайте! Зою, видать хочет замаслить... «Мы вам картошечки, мы вам рыбки...» И, слышь, Александровна, лекарство, сказывает, может такое достать — всю опухоль как рукой снимет! А я ему: «Дудки! За Серёженьку ношу. Потому и дадена шуба да шаль кашемировая, что Серёжа, сынок, в могилке стынет...»

Наши обновки Марише не понравились:

— Как на арестантов пошили. Дети же — могли бы и постараться.

— Что ты, Мариша, — возразила бабушка, — и за это спасибо. Пусть хоть теперь свежим воздухом подышат...

Она одёргивала на нас матерчатые воротнички пальто, вытаскивала белые нитки наметки.

Мариша не унималась:

— Хоть бы кошку какую пришили. В шею же задувать будет.

— Ой, смотрю я, Маришенька, зазнаваться ты стала, — покачала головой бабушка.

— А чего мне? — в тон ей ответила Мариша. — Вот с ногами бы только полегчало... А так — жить можно.

На другой день она пришла к нам со свёртком под мышкой.

— Вот вам воротники, кавалеры! — сказала она, кладя свёрток на стол. Бабушка развернула газету и всплеснула руками:

— Сумасшедшая! Такую вещь загубила. Да ей цены нет.

Мариша только посмеивалась:

— Ладно, ладно. Я старая, мне уж из дерева вещь надо. Чего кричишь — детей пугаешь?

— Свой у тебя теперь. Ему бы что сделала...

— И своего не обижу, не беспокойся...

Бабушка долго ещё и возмущалась, и благодарил Маришу. Потом села подшивать прекрасную доху, превращённую Маришей в коротенькую жакетку.

...И вот мы с Петькой интернатцы. Такие же, как Лёвка Сидор. Он самый старший в группе, над всеми командует.

Едва мы появились в интернате, он подошёл ко мне и спросил:

— Ты за грабли или за вилы?

Я ничего не ответил. Он толкнул меня плечом:

— Ну?

— Ну, за вилы... — сказал я нерешительно.

— За фашистские могилы, — засмеялся Сидор. — Ребя, смотрите, он за фашистские могилы!

Все, кроме Петьки, поглядели на меня с явным презрением.

Сидор обратился к брату:

— А ты за вилы или за грабли?

— За грабли.

— За советские сабли! — обрадовался мальчишка. — Молодчик! А это твой брат?

— Ты к нему лучше не лезь, — грозно предупредил Петька.

— Ладно, — согласился Сидор, — не буду. Только он, дурак, за вилы.

Лёвка пошарил по карманам и протянул Петьке брусочек зеленого пластилина со вставленным посередине стёклышком:

— Зырь, блескоглаз это называется. Сам сделал. Надо? Я тебе потом ещё Нухимова дам — марка такая. Ты марки копишь?

Сидор верховодил и в столовой.

Поставили на стол хлебницу, и он, перерыв все куски, выбрал себе самую поджаристую горбушку.

— Сидоров, — сказала воспитательница, — оставь хлеб в покое. Сколько раз говорила, чтоб не брали хлеб, пока не принесут первое.

Сидор послушно положил хлеб, но едва воспитательница отвернулась, поспешил приложить палец и приложил к облюбованной горбушке.

— Я грибом болел. Кто возьмет, тот сразу заразится.

И другие ребята вслед за ним смачивали пальцы и прикасались к хлебу:

— У меня свинка была.

— Ж-жалтуха...

— Корь...

— Тоже корь...

— Корь не заразная!

— Сам ты не заразный!

— А ты девичий пастух.

— Ребя, свёклу несут! Налетай, подешевело!

— На фиг!

— Дети, ведите себя прилично!

После завтрака мы пошли на прогулку. Сидор взял за руку Петьку, а меня Елизавета Ивановна поставила с одной маленькой, тихой девочкой.

Я боялся, что и меня будут дразнить девичьим пастухом, и не разговаривал с нею. Она тоже молча шла рядом и только потирала свободной рукой носик. И если бы она не поскользнулась, переходя площадь, и не повисла на моей руке, я бы, наверное, совсем про неё забыл.

— Тише ты, — буркнул я попутчице и искоса посмотрел на неё.

Я увидел забрызганную веснушками щёку, покрасневший кончик носа и клочья жалкого воротника, на который уже нападали пушистые снежинки.

— Чо ты ешь? — спросил я, потому что веснушчатая щека девочки была выгнута чем-то круглым.

— Пуговичку, — несмело ответила девочка, и, пока она отвечала, пуговица выскользнула изо рта и упала в снег. Девочка поспешно нагнулась за ней и вместе с кусочком снега отправила в рот.

— Военная пуговичка, — похвасталась она, на всякий случай заслоняя губы рукавичкой.

— Тебя как зовут? — не знаю почему, я смягчился.

— Чоня меня жовут. А папа рыбкой жовёт.

— Ты всегда так говоришь: Чоня, жовёт?..

— Это потому, что пуговичка в роте, — пояснила девочка, — папка мой, знаешь, на войне воюет. Он, когда приехал, маму вжял и ка-а-ак закружит — пуговичка аж отлетела и покатилаь. Думали, в норку упала. Папа уехал, а я нашла.

В подтверждение своих слов Соня выплюнула пуговку на красную рукавичку.

— Гляди, звезда.

— Хорошая, — похвалил я и подумал: «Вот бы мне такую!».

У входа в парк, куда нас привели, хмурый старик приколачивал к забору фанерку. На ней чернилами было написано: «Бомбоубежыща хот здесь» и в углу пририсован палец.

Около деда стояла с пустой кошёлкой в руке старуха. Всхлипывая, она рассказывала:

— Умерла Надя... Мы ей полотенцем руки согреваем, а она умерла. Может, огурчик хочешь, спрашиваю, а она умерла. Маленький достала такой... а она не дышит...

Старик хотел по гвоздю, а попадал по руке.

— Танечка из форточки пыталась выброситься, так я три ночи не спала...

В парк нас пустили нехотя.

— Пройдёте прямо по аллее и на выход, — предупредил воспитательницу военный в длинной шинели.

В парке было тихо. Падал снег. Почему-то вспомнился фотограф...

На дверях киоска, в котором мы с Петькой купали мороженое, висел ржавый замок.

Девушка с веслом, в центре фонтана, была покрыта серой ледяной корочкой. Чехол торчавшей из кустов зенитки был белым от снега.

Не слушая воспитательницу, мы разбежались в разные стороны. Кидали друг в друга снежками, сражались на коротеньких ещё сосульках.

Сидор толкнул Соню, она упала прямо на куст акации. Встала и заплакала:

— Чо ты меня в снегу всю искал? Комок я тебе, что ли?

— Я тебя на таран взял, — хохотал Сидор.

Он подскочил ко мне и подставил ножку:

— Я тебя приёмчиком!

Я побоялся дать сдачи. Соня сняла вязаную шапочку и отряхнула меня.

«Какие у неё волосы, — удивился я, — колечки, колечки, колечки... У Ленки-маленькой и то хуже».

Мы вернулись в интернат к обеду. На первое был суп с клёцками, на второе — форшмак из селедки. Все называли его «башмак».

Из столовой гуськом потянулись в спальню.

Мне не хватило раскладушки. Воспитательница с тётей Оней внесли в спальню стол.

— Ляжешь здесь, — сказала Елизавета Ивановна, — потом что-нибудь придумаем.

Тетя Оня грозно спросила:

— Не мочишша? Смотри, столик-то кухольный!

И я, подпрыгнув, забрался в студёную чистую постель. Воспитательница наклонилась, поправила подушку. Лицо было совсем близко, и от этого глаза Елизаветы Ивановны казались ещё больше, чем обычно. Они были тёмно-тёмно-синие, почти фиолетовые, с влажным, тёплым блеском и густыми тенями возле ресниц.

— Спи! — говорит воспитательница. Я зажмуриваюсь, но едва исчезает с моих щёк тёплое её дыхание, осторожно приоткрываю веки. Очень хочется, чтобы она подошла и к Петьке.

В мёртвый час никто не уснул.

— Ребя, воспитка смылась, — сообщил Сидор, выглянув в коридор. Его раскладушка стояла у самых дверей.

— Ну-ка, дай полежу на тётивонином столе, — попросил он. Улёгся на мое место и стал дрыгать ногами. Кто-то запустил в Сидора подушкой, он ответил, и началось побоище. Оно продолжалось до самого полдника.

Мы доедали кисель. Соня вдруг выронила ложечку и заплакала. Она плакала так громко, так безутешно, что даже повариха прибежала из кухни.

Сидор смущенно спрашивал: «Это я тебя сильно толкнул, да?» — и старался оторвать руки, ко-

торами девочка закрыла лицо. — Я, да? Хочешь, я себя ложкой стукну?

— Отойди, Сидоров, — сказала воспитательница. — Иди доедай кисель.

— Что случилось, Сонечка? Ну, скажи. Тебя обидели?

— Пуговицу со звездой па-па-а-тиря-ла, — еле вымолвила Соня, когда воспитательница погладила её по колечкам.

— Ну, чудачка! Достанем тебе пуговицу. Ещё лучше прежней. Сейчас столько военных...

— Папки-ну-у хо-о-чу, — ещё пуще расплакалась девочка. Она больше не могла говорить.

— У неё, наверно, в парке выскочила, — хмуро сказал Сидор и опустил голову. Потом, не оглядываясь, побежал к дверям.

— Я поищу!

— Сидоров, сейчас же вернись! — крикнула воспитательница, но Лёвки уже не было.

* * *

— Ваш? — строго спросил сосед Димки Сойкина и подтолкнул Сидора к Елизавете Ивановне. — Герой! В запретную зону забрался.

И было непонятно: осуждает ли милиционер беглеца или хвалит.

— Сидоров! Конечно, мой, — обрадовалась воспитательница. — Замёрзший-то какой! Дрожит весь. Да где ты был, гулёна? Мы тут с ног сбились...

Лёвка и правда вздрагивал. Но, наверное, от страха, а не от холода. Одет он был тепло: такие же, как на милиционере, шапка и полушубок.

Милиционер забрал снятую Лёвкой одежду, козырнул и ушел.

Голос воспитательницы стал гораздо строже, чем при нём.

— Марш за мной! — сказала она Сидору. — А вы все — в постель! Чтоб через пять минут ни одного здесь не было!

Мы поплелись в спальню, обсуждая Лёвкины шансы на помилование. Те, кто в интернате « давнее всех», говорили, что Сидору достанется крепко.

Он вернулся поздно. Молча, не обращая внимания на наши напряжённые позы, разделся и лёг. Жалобно заскрипела раскладушка.

— Сидор! Было тебе? — не выдержали мы, — За уши таскали? Ты ревел?

Сидор вдруг громко расхохотался:

— Тетя Воня редела — вот кто. Я суп на кухне ем, Лизавета Ванна ей говорит: «Это что за меню? Сёдня свёкла, завтра свёкла...».

— Сама она свёкла, — поддакнули из темноты.

— Ага, — согласился Сидор. — Лизавета Ванна ей говорит: «А где омлет, где жиры, почему чай несладкий?». А тетя Воня как заревёт: «Я не брала, я не брала. Жиров десять грамм на рот. Я не брала...». Как Сонька редела, — сказал Сидор и затих. Полежал, соскочил с раскладушки и прошлёпал босыми ногами к перегородке, за которой спали девочки. Приложив губы к дырочке от выпавшего сучка, он шепнул:

— Соня, не реви. Соня, слушай: я тебе завтра Нухимова отдам. Марка такая...

В интернате мы с Петькой пробыли до новогоднего утренника. На утреннике Петька прочёл стихи собственного сочинения. В них говорилось, что фашист бежит от Петькиных крепких жал. Всем особенно понравился конец:

В землю гадов головой,
А везде грохочет бой!

Соня сделала «лягушку». Сидор спел про конницу Будённого.

После утренника нас повели в столовую. Родители окружили воспитательницу и спрашивали, когда утепляют уборную, чтобы детей не продувало, и сколько носовых платков нужно давать ребёнку.

Под десятками родительских взглядов Сидор всё же умудрился поменять на соседнем столе мякушку на горбушку. Свою он отдал Петьке, обменённую — мне. Всегда ли будут на земле такие правильные мальчишки?..

Вот он уписывает нелюбимый мякиш и грустно говорит Петьке:

— А я в суворовское махну. Вот весна будет, и уеду.

Мы с Петькой насовсем уходим из интерната. Другие только на праздники.

Бабушка стала надомницей, сможет за нами смотреть. Она уже договорилась с учительницей, и Петька опять будет ходить в школу.

Петька-то будет, а я нет...

— Дети, — говорит Елизавета Ивановна. — Дети, попрощайтесь с Петей и Лёней.

Она наклоняется и целует наши макушки.

— Дети, я кому говорю?

Никто её не слушает. Все погрузили носы в кульки с новогодними гостинцами. У Сони за щекой круглая помадка, а я вспоминаю ту, военную пуговицу.

* * *

В нашей комнате на тумбочке стоит ёлочка. Не целая, а только верхушка. У кого-то не влезла в комнату большая-пребольшая ёлка — вот и отрубили от неё верхушку. Ёлочных игрушек у нас не было, и бабушка вырезала и повесила на ветки модели из журнала мод. Они всё время поворачиваются к нам нераскрашенной стороной.

Накануне бабушка говорила, что если что-то задумаешь, то в новогоднюю ночь это обязательно приснится.

Я забыл задумать, но сон увидел замечательный. Мне приснился Будённый — точь-в-точь такой же, как на портрете в интернате.

Я поздоровался с ним и попросил у него будёновку. Хоть не насовсем, а поносить. Ведь у Вальки Степанова и у Витьки Майорова они есть, а у меня нету.

Будённый погладил усы и сказал:

— Знаешь, я сам все свои будёновки раздал. Но я напишу тётке на Красную речку, и она тебе пришлёт...

Как жалко, что такой сон кончился! Вставать не хочется. Надевай теперь эти гадские штаны с железными пуговицами, эти стоптанные ботинки...

Один ботинок надевается хорошо, другой как назло не лезет. У Петьки — то же самое. Нога упирается во что-то твёрдое и не идёт дальше.

— Там что-то есть, — Петька засовывает руку в ботинок и щупает. — Не достаётся...

Взяв за пятку и носок, мы с силой встряхиваем ботинки. И тут на пол, почти одновременно, падают, стуча, два больших спелых яблока.

— Яблоко! У меня яблоко! — кричит брат.

— Яблоко! — кричу я. — У меня тоже яблоко!

— Яблоки! Кричим мы, подбегая к бабушке.

— Баба, яблоки... Посмотри, баб, яблоки... Тут красненькое, тут жёлтенькое... Баба, баб, а где ты яблоки взяла?

Мы, забыв обо всем на свете, носимся по не протопленной ещё комнате.

Мы прижимаем яблоки к груди, заворачиваем их в подолы рубашек, лижем разноцветную, пахучую кожицу:

— Моё с веточкой!

— Моё с полосочками!

— Баб, это тебе в счёт работы дали?

Бабушка в телогрейке, перехваченной тесёмкой, выгребает из печки золу. Звякая, в ведро вместе с золой падают обгорелые гвозди. Вчера топили тротуарной доской. В ней было много гвоздей с гладкими шляпками, отшлифованными тысячами ног.

В другой раз мы бы с удовольствием запустили в золу руки и выловили два-три похожих на

червяков гвоздика. Но сейчас руки заняты яблоками! Они в сто раз лучше гвоздиков, лучше даже, чем сон про Будённого!

— Не бегайте в одном ботинке — это нехорошая примета. Залезайте в постель — видите, какая холодина! — говорит бабушка, и изо рта у неё идёт пар.

...Холодина-дина-дина...

Мы залезаем под одеяло. Яблоки с нами. Им тоже холодно.

Холодина-дина-дина...
Светит лампа Аладдина.

— Складно? — спрашиваю я Петьку. Мне очень приятно, что и я сочинил стихотворение.

Бабушка выносит ведро, разжигает печь. Потом присаживается на край нашей кровати.

— Баб, у тебя на лбу сажа. Нет, вот тут, ага — вот тут. — Петька высовывает руку с зажатым в кулаке яблоком и одним пальцем показывает, где у бабушки сажа.

— Баба, что с ними делать? — спрашиваю я.

— После супа скушаете. В яблоках много железа.

— Ой, — не верит Петька и тычет пальцем в яблочную щёку. — Там только зёрнышки, я знаю...

— Баб, а правда, где ты яблоки достала?

Мы знаем, что на паёк яблоки не дают и посылки с ними нам никто не присылает. Мы и видим-то яблоки впервые за столько лет.

— Знаете что... — говорит бабушка. Голос у неё таинственный, будто она хочет рассказать сказку. — Я ведь у вас ведьма. Я Баба-Яга.

— Бабы-Ёги такие не бывают, — смеюсь я.

— Бывают! Спрячьте руки под одеяло! Вот я такая Баба-Яга. Вы вчера спали, а я раз-раз на метлу, в трубу и полетела...

— Куда? — в один голос спрашиваем мы.

— Ну, полетела... м-м-м... в Москву!

Бабушка прячет руки в рукава и продолжает:

— Прилетаю сразу в Кремль, спускаюсь через трубу, а там столы кругом, вазы на них стоят. Партизаны там в гостях. Ну, я потихоньку взяла два самых больших яблока и улетела.

— Баб, а почему ты побольше яблок не взяла?

— Больше нельзя. Иначе метла не выдержит — упадёт.

— И нет! Ты, баба, не Баба-Яга!

— Вот Фомы-неверы.

— Да нет, правду скажи, ты летала?

— Ну, конечно. На этом вот венике.

— И самолёты видела?

— Как тебя сейчас.

— А когда ты ещё полетишь?

— Скоро, ребята, теперь уже скоро!

* * *

Я часто вспоминаю эти «кремлёвские» яблоки, купленные бабушкой за баснословную цену на базаре.

Яблоки мы съели, а их зёрнышки закопали в горшок от давно зачахшего цветка. И поливали их

до тех пор, пока бабушка не убедила нас, что это пустая затея. Так холодно, разве они уцелеют?..

И вот, думая теперь о своём детстве, я всегда сравниваю нас самих и эти яблочные зёрнышки.

Только человеческое тепло защитило и спасло нас с Петькой в те суровые годы. Не очень-то много мы его видели, но раз не погибли — значит, нет ничего на свете сильнее, чем даже самая скупая доброта человека...

* * *

Из огромного рога изобилия сыплются глиняные ватрушки. В самом гастрономе пахнет балыком и сдобой. На полу — бумажки от конфет «Радий» и «Чёрная смородина». Кто-то ест такие конфеты. Кто-то не только ест, но и обманывает — возьмёт и свернёт фантик, будто внутри конфета.

Димке отец дал красную тридцатку. Димка купил полный кулёк «Радия». Стоит под плакатом «Сортовой разруб говядины» и поедает одну за другой свои шоколадки.

Мы с Петькой и Витька Майоров ждем, когда подойдёт очередь за коммерческим хлебом, и поглядываем на Димку.

Он не замечает, а нам видно, как к нему подкрадывается оборванный чумазый мальчишка. Кепка козырьком к затылку, одно плечо воинственно приподнято.

— Ты чо? — толкает он вздрогнувшего Димку.

— А ничо! — Димка озирается по сторонам.

— Ты на кого, сука? На меня, да? — пацан ещё раз толкает Димку. — Дай конфетину. Я шпана!

Подошла наша очередь. Толстушка свешивает нам хлеб и говорит другой, длинной продавщице:

— Ты не представляешь, какой он ужасный кокетун... Умора!

Мы прячем хлеб в сетки и идём выручать Димку.

Незнакомый пацан стоит к нам спиной. Все вместе мы ему запросто накидаем. Ух, гадство, бритовку достал... А Димка бледный-бледный...

— Ты Сидора знаешь? — говорит пацан и протягивает Димке лезвие: — На, отрежь маленько.

Сидор, Сидор! Да это же наш Сидор. Мы же с ним вместе были в интернате. А может, это не сон?

— Сидор, ты в интернате был? — спрашивает Петька.

— Сбежал, солидно отвечает Сидор, — свёкла там, всё свёкла.

— Сидор, айда к нам, — зову я.

— Заругаются ещё у вас.

— Ну, к вам пошли.

— Куда? — он морщится, точно димкина конфета оказалась очень кислой. — Матка у меня умерла. Вьюшку нарочно закрыла и угорела. И в суворовское ни фи́га не написала...

Мы выходим из гастронома. Синее-синее утреннее небо, яркое солнце, лёгкие, как бабочки, конфетные бумажки...

— Знаешь что, — нерешительно говорит Сидору Витька Майоров, — пойдём со мной. Мариша тебя пустит. Она хорошая — хочешь, спроси у Петьки. Петька с Лёнкой, а мы с тобой будем жить. Идёт?

Сидор молчит

— Нет, верно, — уговаривает Витька. — Потом меня братан заберёт, а ты у Мариши останешься. Или вместе махнём.

Сидор в ответ только вздыхает...

Мы идём по городу. Позади всех Димка. Доедает свои конфеты.

...Через час после встречи с Сидором диктор объявил о капитуляции Германии. И на нашей улице — на всех улицах — был праздник.

1959

ЖДАНОВСКИЕ ПОЛЯ

(Наброски к повести)

Мы ехали к матери. Нежданно-негаданно она оказалась у нас жива и здорова. На какие шиши мы ехали? Два раза она высылала деньги на переезд. Мама пять лет пилила чурки для газогенераторных машин. Кто знает, тот поймёт. Брёвна ломом выколупывались из Камы, ошкуривались топором. Это была ювелирная работа, самую вредную рыбу гораздо легче чистить. Топор срывался, попадал по пальцам. За ночь, порой в пятидесятиградусный мороз, женская бригада пилила эти чурки кружочками по 6 см в ширину 3,5 кубика на пару, чтоб транспорт утром вёз их по обычному маршруту.

Всё время витал перед нами образ матери, — да и что было в этом странного? Бабушка никогда нас с ней не разлучала, наоборот, выбрала веский довод:

— Пришли злые, подлые люди и увели вашу маму. Сначала отца — он был святой человек. Я никогда не забуду его спину, когда он навсегда уходил. Мы завтракали на кухне, заглянул дворник, и всё стало понятно. Лёшу (так Лёню многие называли) увели. Я его грешным делом недолюбливала, но когда увидела, как он уходит, прокляла

себя на всю жизнь! Он был настолько близорук, что стоило нам переодеться в одно и то же платье, синее с горошками, он страшно негодовал, смущался. Вообще этот человек не любил никакого околпачивания. В восемь лет он подвозил пассажирам на саночках вещи... Потом стал большим человеком. Потом его не стало...

Перед отъездом, из подарочного американского одеяла нам с братом сшили роскошные шаровары, причем рисунок расположили так, что он выглядел как генеральские лампасы. Но, разве только мы с братом любовались друг другом, нашим обмундированием и иногда, баба Оля. Остальным попутчикам было недосуг.

Бабушка не успела толком ни раздать долги, ни собрать еды в дальнюю дорогу от Хабаровска до Перми, а потом до Соликамска. Из всех богатств у нас была литровая банка смальца, множество лепёшек на американском яичном порошке и две книги: я положил «Сказки» и «Волшебные сказки». Мы так рвались к маме, что разбили сундуком, который забрасывали на третью полку, электролампочку, а стоила она тогда на вес золота. Лепёшек и смальца нам не хватило. Наши любимые книжки мы через три дня поменяли на еду у соседки по купе — очень приятной военной врачихи. И у неё был сын — Севка (Секун, как мы между собой с братом его называли). Почему-то ей вдруг показалось, что мы без маленького Мука перебежёмся и «Холодное сердце» Севку не запугает.

Ночью коридор и тамбур устлан был возвращающимися с японского фронта. Это были милые

люди. Сидя на подножке поезда, кто-то перекрашивал чёрным русским кремом жёлтые японские сапоги, у одного на руке было шесть пар трофейных часов, ещё один нянчил свою загипсованную руку... Все они были настолько молоды и так не устали от войны с Японией, что на ходу прыгали с поезда, хохоча и задыхаясь, догоняли его. Часть из них «навсегда» отвоевавшись, попала потом в новую мясорубку. Я не видел ни одного солдата, который бы к детям относился плохо. За окном верблюды, синева Байкала... Впрочем, японские военнопленные за летящими окнами поезда не были изнурёнными.

Кроме красоты Байкала, всех занимала ещё одна страсть: говорили, что какой-то беглый зэк вырубил из базальта бюст Сталина, и мы увидим его по ходу движения поезда. Но мы видели лишь надписи: «Маша, Коля, Петя»; сердца и стрелы.

И надо сказать, что в то трудное время казалось: все трудности позади. Но всё-таки самым доступным роскошным благом был кипяток. И крупнее, чем названия станций, например, «Зима», «Ерофей Павлович», были надписи «Кипяток» и, если бы я составлял тогда географическую карту, кроме «Кипяток», ничего бы на ней не было. Ночью проводница Саша шла, как по минному полю, между спящими в проходе победителями, ставя иногда кое на кого пятилитровый чайник, для отдыха.

Солдат Миша, которого днём пускали на нашу вторую полку (он ехал до Москвы, и бабушка тайком обещала эту полку ему после Перми), всячески угождал нам: подкармливал нас японскими

галетами, бегал за кипятком, покупал варёную картошку.

Так мы ехали, вспоминая незабвенный Амур, Хабаровск с пушками возле исторического музея. Когдаходишь в предмогильный хлад первого этажа музея, видишь лежащие там без надзора куски метеоритов, распилены тысячелетних окаменевших деревьев.

А уж дальше, по лесенке, весь быт, все тряпки населявших край народов, ещё выше — судьба Бонивура, любимого нами, как Чкалов, Василий Константинович Блюхер... * Что касается Блюхера, мы о нем мало знали тогда... А по тёплым стволам пушек мы любили скатываться вниз. Это было краткое удовольствие, успевавшее, однако, согреть нам животы и испытать волю неизбежного приятного падения.

Так и приехали мы в окаянную Пермь. Миша, опекавший нас всю дорогу, ночью полусонных передал нас на руки матери, пока ещё не выбралась на перрон бабушка.

— Кто это?

— Гага, — мама поймала меня над подножке вагона и прижала к себе.

— А кто это?

— Это Бетя. — Руки солдата Миши трепетно поддерживали нас в угарной полутьме, передавая матери.

Надо сразу объяснить наши странные имена. Бетя старше меня на год и четыре месяца. Перед

* *Статья о В.К.Блюхере — последняя перед арестом Л.С.Решетова.*

самым его рождением вышел журнал «СССР на стройке», весь посвящённый Беталу Калмыкову. «Есть город Нальчик, где что ни мальчик, то Бетальчик». Так и дали брату моему имя. Мне имя искали долго. Баба Оля предложила простое — Алёша. Все согласились назвать так недоношенного из-за материнского тифа второго наследника. Когда наконец принесли меня из больницы, Бетя ткнул мне в глаз и сказал: «Гага». С тех пор Гагой, Гагочкой я оставался добрую треть жизни. Даже имея паспорт с официальным именем, был для окружающих и своих Гагой. А уж наши школьные детдомовцы потешались надо мной сколько могли: «Гага — северная птица, она мороза не боится...» Из-за этих оскорблений я стал человеком отважным и отчаянным (правда, ненадолго, но об этом потом). Приходилось драться за самого себя или бить невиновных по указке всемогущих ровесников. Били не до крови. Лежачего не трогали даже детдомовские...

И вот мы оказались на вокзале Перми II между местных неумолкаемых цыган и демобилизованных. Какая-то девочка лет пяти, ещё не ведая стыда и не чувствуя холода, предлагала всем странникам купить у неё флакон от одеколona. Половинки солдат на «самокатках» пели почти до утра песни:

А на груди у сестры умирает
Гордый красавец моряк.

Подавали и хлеб, и сахар, и луковицы. Деньги давали торопливо, стыдливо — что они значили после войны, да и что на них можно взять ночью?

Я был партизанский разведчик,
А он писаришка штабной,
Я был за Россию ответчик,
А он спал с моею женой.
Однажды в студёную пору
Вернулся я с фронта домой.
Залез под кровать невзначайно,
А там писаришка штабной...

Хрум-хрум — на зубах вместе с кожицей по-
данная луковица.

Я бил его в белые груди,
Срывая с груди ордена.
О, добрые русские люди,
Родная моя сторона...

Спекулянтки, как старые орлицы, сидели, вког-
тившись, на мешках с крахмалом или семечками.

Мало кого с вагонной подножки ожидал дом.
Большинство меняло место на место, простран-
ство на пространство.

Милиционеры, в отличие от разгулявшихся ты-
ловых крыс, были умирительно-вежливы. Такими
же покладисто-общительными и доброжелатель-
ными, несмотря на ежесуточный окружающий
хаос, были и железнодорожники. Редко кто в сер-
дцах огрызнётся. Многие люди были тогда такими
неправдоподобно хорошими, как их описывают в
книжках.

Мама подложила под наши попки свою телог-
рейку, баба Оля с мамой сели на наши «вещи».
Мама открыла банку свиной тушёнки и изрезала

всю булку хлеба. Бетька сразу вцепился в кусок, а я откусывал, как крысёнок, деликатно и всё исподтишка любовался матерью, стыдясь своего косоглазия. За это меня потом прозвали «тихой сапой».

* * *

Срубили лес, выворотили пни и корни — все почти, залили чем-то, но даже капуста и картошка там не росли. Один иван-чай разрастался — хрупкий и победоносный, застилая всё пространство.

Построили тогда на этом месте детдом, кожно-венерологический диспансер, общежитие на шестьдесят персон обоего пола для учащихся горно-химического техникума, почту. Святое место не бывает пусто. Маленький магазинчик служил людям верой и правдой. Тихоокеанская селёдка, словно домашний хлеб, кабачковая икра, безобёрточные конфеты, лапша, водка на разлив и вынос, штучные папиросы и целиком «Северная пальмира», махорка — всё было здесь, что душеньке угодно. Но самое главное в том, что торговал Карлуша — Карл Карлович, и он всем (пока его не сняли) продавал в долг.

Это лишь одна из прелестей Ждановских полей. Там умели ставить брагу, и десять двухэтажных барачков ходили ходуном...

По младости лет я-то думал, что Ждановские поля называются так потому, что каждый год выбирают от нашего района в Верховный Совет Жданова и министра почтовой связи. Лишь потом, вовсе состарившись, постиг я, что есть вся наша жизнь

надежда, что вот так и проживём мы, чего-то ожидаючи, а чего именно — неизвестно. И всё-таки всю жизнь мы ждать не перестаём. И может, это синонимы — жизнь и ожидание, хоть и под вечным страхом. А всё равно: мы ведь не живем, если говорить правду, мы всё время ожидаем жизни. Вот она и есть Ждановские поля, а там за ними...

Наш барак стоял у самой зоны, у самых ворот лагеря, у самой вспаханной земли, где ни одно семечко не прорастало. На ней должны отпечатываться следы убегающих летом; зимой отпечатки ног оставлял снег. Сначала в бараках жили тени наших малолеток — именно тени, качавшиеся от слабого ветерка, тел у них не было. Потом их пересылали дальше к северу, куда и многих осуждённых. Я их не запомнил по отдельности, а вот массу помню. Потом в зоне жили «русские соколики» — бандюги, власовцы. К этим неприязнь у меня до сих пор остаётся. Когда мы ехали в кузове грузовика в лес за ягодами и дружно пели: «Там, через дорогу так же одиноко» или «Очи карие» — нас в глуши то и дело останавливали — искали власовцев. Солдаты из засад, изъеденные паутами, всё же по-детски или деловито улыбались красивым женщинам в кузове. Все охранники были молодыми, тоже как бы подневольными.

И уж потом в казённых бараках появились ненавистные немцы. Самодовольные, толстомордые, они возвращались вечером домой с работы и пели армейские марши. И никто из конвойных на них не покрикивал. И казалось, что не мы, а

они освобождали нашу землю, и на плечах у них были снопы цветущей черёмухи, и ни на одном лице не было раскаяния. Из дипломатических соображений их кормили лучше всех — ни калеги, ни турнепса, а лучшая белая мука, шоколад и прочее. Разумеется, они писали домой, что им нигде, никогда не было так хорошо, как у нас в плену.

А наш барак, повторяю, стоял рядом с зоной. Половину его занимала лагерная охрана, другую — бывшие эски, ныне строители номерных заводов. Из других живых существ нельзя забыть клопов, ну и безобидных тараканов. Гаже власовцев и немцев, отпечатанных в памяти души, в самой мерзкой её половине, были крысы. Пойдёшь в уборную, присядешь — рядом, как охранники, столбиком сидят два хомяка.

Однажды в золотом сосновом бору, где кроны вознесены в самое поднебесье, я натянул свой самодельный лук, и лучина-стрела с карандашным наконечником осталась у меня в мякоти ладони. Я хотел подстрелить глухаря, но теперь было не до дичи. Я обломил оба конца стрелы, но вытащить оставшуюся середину не смог, и ладонь на другой день стала ныть и распухать. Меня повели в зону «делать операцию». Когда немец-хирург разрезал мне перочинным ножичком ладонь и вцепился в мясо, вынимая остатки стрелы, не было мне ни капельки больно! Но уже тогда, в семилетке, промелькнула мысль: «Что же ты, как фашист, рвёшь, не успокоил меня заранее, не усадил на табуретку, не сказал: потерпи?». Но он сделал перевязку, и ста-

но совсем не больно. А когда я вышел из санпункта, вдруг заметил, как белоснежны у немцев бараки, какие под окнами растут ёлочки, как всё вокруг посыпано незапятнанным песочком. У нас-то, «на воле», совсем наоборот.

В нашем бараке была первая, большая комната с большой неугасимой печкой, в других этого не было. Утром, перед шестью часами, в нашу комнату забегали охранники. Они снимали двупалые рукавицы, и клали руки прямо на малиновое железо. Здесь и соседи оставляли сушить свои сапоги или калоши, и табор из Самарканда (хоть они и не цыгане) с удовольствием грелся. У одной из этих женщин сын был осуждён как самострел. Стоя на посту, он прострелил себе ладонь, за что и был наказан.

Так было осенью и зимой. Летом охранники исчезали. Бесхлопотная дикая пища, ягоды и грибы выпускали народ на волю. Охранники мокли под дождём, давили на лице паутов, грубели без женской ласки... И уж когда находили раскаявшегося доходягу, суд был прост, скор и по-своему справедлив. Однажды одного такого «Мцыри» привезли в окровавленной полуторке. Доктор Расковский, тоже подневольное светило, только и успел, что склониться над ним:

— Ну, зачем ты бежал?

— Доктор, спасите... — вот и весь разговор.

Этот доктор Расковский далеко не был простым человеком. Среди славных теней над Невой у него прочное и почётное место.

— Я тебе сейчас поставлю клизму из битого стекла, — говорил он симулянтам или, сочувственно, доходяге:

— У меня за зоной есть хорошие друзья. Они специально для тебя откормят собаку, только скажи хоть одно слово.

«И кто в нашем крае Чилиту не знает?...» — каждое утро вопрошала шепелявая пластинка. Как мясорубку крутили с утра до вечера патефонную ручку у нас в бараке. До этого пели Гимн Советского Союза на слова Регистана. Ещё раньше, в 6 утра, начинался развод женщин-заклужённых. Вскоре со всех них сняли судимость, а потом и реабилитировали. Они пели не «Чилиту», а другую песню, тоже хорошую: «А ну-ка, девушки, а ну, красавицы, пускай поёт о нас страна». Бегали охранники, нехотя рычали овчарки. Потом Дуся Гольмель заводила патефон. Она была богиней общепита. А он, доктор Расковский, — голодный трудармеец, вот они и сошлись на этой почве, притерлись друг к другу, правда, со скрипом, не сразу. Собираясь в гости, доктор говорил:

— Дуся, только ты, пожалуйста, там ничего не говори.

В Дусе кипела затаённая обида, она прибежала к бабушке:

— Вот сшила себе еловое (лиловое) платье, наставлю ему роги...

Потом заводила «Чилиту».

...Она так умна и прекрасна...

Задумываясь сейчас о том времени, я мало кого могу вспомнить, кроме детей и женщин. Были, конечно, и мужчины, но как плотники, суфлёры, парикмахеры, осветители жизненной сцены. Война ещё долго продолжалась после победного салюта, а может, и до сих пор не кончилась. Мужиков было маловато, но откуда-то бралась и кишмя кишела детвора. Жильцы нам прощали гогот и топот в коридоре. Если не играли мы, то веселились вовсю крысы — бегали табуном из конца в конец барака, делили на неравные куски оплошавшую кошку. Уж лучше мы: в чехарду, в чугунную задницу, в чику, в жестку, в глухой телефон, в фантики, в пёрышки. Все десять бараков собирались в нашем коридоре по вечерам, как позже подростки в подъездах, — все Ждановские поля. Только один мальчик из шестой комнаты не принимал в этом участия. Звали его Юра, но для всех, кроме матери, он был Чекушкой. Он был не младше нас, но не рос и казался грудным младенцем, только умел ходить и говорить. За малый рост так его и прозвали. Отчим его, Сашка Беляев, ненавидел своего пасынка, с которым ему пришлось взять за себя славную, тихую, даже в ватных штанах тонюсенькую, как спичка, мать Нюру. Но зло, напившись, он срывал на ней. Утихомирить его могла только моя мать. «Это женщина самостоятельная», — говорили о ней в посёлке. Самостоятельная — означало лучшие человеческие качества. Саша кидал в Нюру пачками дефицитного маргарина, бил стёкла, покуда не родился у него соб-

ственный сын, и его он, как и пасынка, назвал Юркой.

— Пусть только у меня будут два Юрки.

Спесь и кичливость ещё играли в нём, но сволочизма уже не было. Первое слово, которое научились говорить детские губы второго Юрки, было не «мама», не «папа», а матерное, из трёх букв состоящее. Сашка с гордостью носил его по всем баракам и демонстрировал необычайные способности сына. До его рождения мать Нюра уходила дежурить на телефонку, на 557-й завод, который всё ещё по привычке считался оборонным и секретным. Чекушка оставался один. Мы вваливались в его комнату, где, кроме стола, топчана и помойного ведра, ничего не было. Мы никогда не дали ему даже щелбана. Мы просто наслаждались тем, как он нас боится, как от страха становится ещё меньше, хотя уж меньше быть невозможно.

Странно, что никто не писал о равновесии детского благородства и садизма... Но жестокости в нас хватало.

Баба Оля положила этому конец. Здесь следует сделать небольшое отступление. До замужества Нюра была женщина, как у нас говорилось, несамостоятельная, ещё гаже — слаба на передок, а никогда никого не осуждавший учитель физики Виктор Иванович всё-таки сказал однажды, что Нюра катится по ЛНС — линии наименьшего сопротивления. Нюра приносила поздним вечером обувь нового кавалера просушить до утра — печка у нас всегда топилась. Бабушка Нюру никогда не осуждала. Когда исчезал оче-

редной рыцарь, она ей ворожила. Это было особое гадание — так якобы Наполеон раскидывал карты на барабане перед очередной битвой. Самую страшную карту — десятку пик, означающую смерть, болезнь, невозвратимую утрату, — бабушка заранее прятала под клеёнку, чтобы она никому не выпала. Слух о бабушкином чудедействе облетел все Ждановские поля. К ней стали приходить и чтоб избавиться от ребёнка. Ей становилось дурно. Этим занялась другая старушка, не из нашего барака.

Тихая сапа, клешня, инквизитор — кем только ни обозвала меня бабушка, когда я разбил однажды нос Чекушке. Потом одела Чекушку в зимние обноски, из которых мы с братом выросли, и все мы отправились в клуб «Авангард» на «Зигмунда Колосовского». Чекушка, первый раз за зиму оказавшийся на улице, бежал впереди всех, протапывая в снегу рваную дорожку, и вскоре исчез из виду. Когда мы вошли в фойе клуба («вестибуль», как его называли), там Чекушку, обмороженного, растирали и приводили в сознание. Кино уже крутилось. Зигмунд Колосовский произвёл на меня такое впечатление своей белозубой улыбкой, что я начал скалить зубы, подражая ему. Чекушка же, в отличие от меня, перенял не внешнюю суть, но героическую душу Зигмунда. Он перестал робеть. И мы вдруг открыли, что для игр он вполне подходит.

Ещё один обитатель барака, Ральф Ребер, — рахитичный, ножки колесом, обожал учебник ботаники. Там были цветные картинки. Он бежал к

нам по ледяному полу под нагретое мной и братом лоскутное одеяло и шептал :

— Где ботяника?

«Осот», «горох», «бодяга» — были его сокровенные, любимые слова. И, пока из-под одеяла не выдёргивала его мама Эрика, он упивался разноцветными картинками. Кстати, он в дальнейшем не стал никаким природоведом, а стал известным скрипачом, объездил весь мир вдоль и поперёк, а когда его превзошли по таланту, осел в Западной Германии и чём-то бюргерским там занялся.

Был у нас и лидер — Юрла Падуг, который только и умел, что зазывать нас в сторонку, чаще всего на чердак, сквозной и длинный. Там он снимал с себя штаны, сшитые из байкового одеяла, и показывал свои мужские премудрости, вернее, отроческие. Это нам нравилось, как нравились винтовки, как пистолет, как автоматы молодых конвоиров, как недоступная, неведомая ещё нам сила...

* * *

Как-то зимой, уже ближе к пасхальному свету, мать пошла менять довоенное пальто на картошку. Взяла на рынок и меня, может, оттого, что вдвоём веселее, или ребёнок просто хорошая примета. И хлеб по кусочкам тогда продавали, и нечему здесь удивляться в наше благополучное время.

Но мать не хотела, чтобы я с малолетства познавал жестокий порядок жизни, и я тоже делал вид, что ем только пастилу и вермишель с рисом. Эта манера скрывать свои личные несчастья друг от друга у нас до сих пор, слава Богу, сохранилась.

— Стой здесь, — сказала она у входа, — и не смей никуда уходить. Я скоро вернусь.

Но скучно мне стало стоять на одном месте, и я потихоньку-помаленьку стал двигаться по следам исчезнувшей матери. И тут же попал в незабвенное сказочное царство. К «мотокостыльникам» приветливо наклонялись девушки с подпалёнными кудряшками. У прилавка с самодельными конфетами и петушками-курочками я мужественно глотал слюнки, отворачивался. Впрочем, рынок и притупляет, и усыпляет любой ненасытный голод...

— А заметили — только ставьте, не заметили — не ставьте. Одна проигрывает — другая выигрывает. А кто глаза пучит — ни хрена не получит! — призывал простаков добродушный барыга, виртуозно меняя местами три напёрстка, под одним из которых скрывалась сухая выигрышная горошина. Амбалы-сообщники, побратимы одной нехитрой шайки, начинали первыми, выигрывали пачки красных тридцаток, остальные проигрывали всё, что у них было.

Рядом играли в ботиночный шнурок. Поставишь палец, чтоб он остался в петельке, — ты разбогател. Но всех обводили вокруг пальца. Там же был мужик с оголённой грудью. Волнообразно, потускневшим синим цветом на ней было выколото: «Измена Васе — конец Надежде». Тётка в монашеском платке продавала химический карандаш и штучные папирсы. Мальчик — байковое одеяло, уговаривая всех не брать его, потому что оно старое и дырявое. Грузин, у которого никто не брал

молотый перец, гранёной рюмочкой стал расшвыривать его горстями куда попало — и под ноги, и на головы. Почти все разбежались, базара почти не стало. Все чихали, задыхались. Но пустота оставалась недолго. Окаймляли рынок всякие мелкие заведения: продажа гребешков и зубных щёток, багетов и обоев, парикмахерская, закусочная и четыре — не совру! — фотоателье. И вот на рынок движется похоронная процессия, и уж ничего смешного здесь нет. Но он бы, дурак, мог со своим «фотокором» выскочить заранее на дорогу? Гроб был голубой. На торце, где ноги, было написано: «До свиданья, мама!». Было время, когда не дозволялись аборты. Многие женщины от этого гибли.

Потом я увидел целую картинную галерею: витязь в тигровой шкуре обнимался с носатой подружкой, два однополых льва равнодушно дремали под рёв наилучшего нашего самолёта-истребителя, из которого отважно торчала половина лётчика... Анилиновые краски делают заурядный, непридуманный мир неповторимым, волшебным...

— Поставили на хозяйку, а выиграла корову!

— Мотогонки! Александр и Казимир Морено!

...Мать чудом нашла меня в этой дикой толкучке, на спине у неё был большой рюкзак с картошкой. Она больно дёрнула меня за руку, и уже потом, в самом конце базара простительно-ласково сказала:

— Хочешь я куплю тебе открытку?

И мы вернулись назад к первому ряду, где обычно торгуют всякими мелочами: замками, ко-

торыми нечего было в те годы запереть, угольными утюгами, пепельницами, отлитыми из олова в виде горсточки сложенных рук. Даже если они не настоящие, всё равно же им больно!

Толстоватая бабёнка (мне она очень понравилась) продавала туфли-танкетки. А в самом конце прилавка стояло очень худое высокое существо в телогрейке, пережившей не одну зиму. Он-то и продавал открытки. Две из них были обольстительно-прекрасны: курочка везла тележку разноцветных пасхальных яиц — фиолетовых, розовых, золотисто-жёлтых. Мама сразу, не спрашивая цену, уцепилась за неё и вторую. Там два взрослых медведя несли на носилках раненного на охоте медвежонка с перевязанной лапкой. Ещё две открытки с блёклыми цветами мама тоже купила. Все остальные открытки были с каким-то тусклым однообразным серебристым орнаментом. Мать их долго перебирала, будто мешок с картошкой не утомил её. «Роза, скоро меня отпустят насовсем, и мы будем опять вместе. И наша маленькая Лисси, и Оскар, и Ральфик», — успел я прочесть на обороте одной из открыток.

— Нет, это нам не подходит, — сказала мама. И мы ушли к выходу от этих серебряных писем.

* * *

В школу я ходил не с ровесниками. Из-за военных передраг, переездов я упустил свой школьный возраст. Пришлось идти сразу во второй класс. Слова я срисовывал по букве. И вот я сплываю с доски: «Ребята Горьковской области пер-

выми задумали построить танк «Пионер». Они достали средства. Танк был готов. Ребята передали его Красной Армии». Учительница, Ефросинья Селивестровна, сразу меня раскусила и вынесла свой педагогический приговор: «Надо тебя в первый класс, ничего не поделаешь. У тебя даже по рисованию три с минусом. Хорошо, давай послушаем, как ты читаешь». Читать-то уж я умел давно. До этого я знал почти наизусть лермонтовского «Демона», «Тростник», Тома Сойера и Гека Финна. Мне предложили прочесть абзац из «Родной речи» и пересказать его своими словами. Я начал читать: «Вышла курочка на крыльцо и говорит хозяйке: «Посмотри, какая радость!» — «Никакой радости я не вижу», — ответила хозяйка. — «А солнышко-то!» Я пересказал всё дословно. Ефросинья Селивестровна растроганно сказала: «Ты очень хорошо прочёл этот отрывок, мы будем тебя общими усилиями вытягивать по остальным предметам». Но кто? Какими общими усилиями? Дружбы между нами, детьми, не было. На вес золота ценилась «бритовка». Лезвие зажималось между двумя пальцами, им грозились друг другу «пописать очи».

Когда в конце учебного года мне выдали табель с одними тройками, я долго плакал от неведомого счастья. Потом я стал искущённее, хитрее, но и тот слабосильный мальчик порой в меня возвращается, убирая всю напускную бодрость и притворную отвагу.

— Она так умна и прекрасна, — звучало в голове. Мне было очень стыдно и перед Чилитой, и

перед Ефросиньей Селивестровной, страшно перед бабушкой и матерью. И все-таки я был окрылён, а всего страшного будто и не было.

* * *

Вблизи барачков, на месте вырубленных лесов, голодные люди сажали картошку, калегу, турнепс, что-нибудь съедобное. А вместо этого появлялись сурепка, полынь и ковыль даже — говорили, будто бы от изначального казахского (зимнего) этапа. Ковыль добрался через несколько лет до Урала, опутанного в те годы проволокой. Ну что ж, металла Уралу не занимать! Всякие новостройки теснили, сжимали огородные участки. И чего люди ожидали на этих Ждановских?

Я вот к чему. Ещё один из наших мальчишек, Бена Руф, ниоткуда не приехал, а знал только это — одуванчики, сиреневые цветки картошки, посаженной глазками, шум горной воды, белоснежные угоры — вот завязь красоты в его уже тогда большом и больном сердце. Я думаю, с голодухи любого это очаровало бы, появись он в наших местах.

Бену ежедневно бил отец. Втихую. Добивать старались ребята на улице. Бена и тут терпел молчаливо.

Вдруг нам объявили, что все мы поедем в пионерский лагерь. Это была несказанная гордость. Впервые, мы ещё не были пионерами, а вроде стали, во-вторых, — там лучше кормят. Но сначала нужно пройти медицинский «обсмотр». Одно из первых чувств страха здесь мы и испытали. Вдруг

нас признают негодными? Но всю огромную очередь в детской поликлинике отпустили с положительными характеристиками, благополучно. Вот только Бену Руфа затормозили и сказали его как из-под земли выросшей матушке не по латыни, а на насмешившем нас диалекте:

— Разве вы не видите, у него так называемая собачья старость, т.е. высшая форма истощения.

Он был длинный и тощий, голова со сморщенным старым лицом болталась на тонкой шее. Как уж мать упросила врачиху, сказав единственную фразу, что дома ему ещё хуже, я не помню, но мы вместе ехали в пионерский лагерь и вместе пели:

Впереди страна Болгария,
Позади река Дунай.

И ещё помню запевалу с, нарочно не придумаешь, фамилией, Озоренко (озарял? озорничал?), но он, заглушая мотор автобуса, старался изо всех сил:

Пахнут сеном,
Пахнут «мясом»
Золотые вечера...

Старшая наша пионервожатая, слегка поморщившись, укорила запевалу: мятой, а не мясом. Но все тридцать дней в лагере он пел по-своему, так вкуснее. Да тут и корить, собственно, не надо. Более взрослые люди в один-два приёма, ещё до отъезда, учат тебя своим песням. А мы наизусть

знаем Гимн Советского Союза, «Идёт война народная» и «Кто в нашем крае Чилиту не знает». Мы всё знаем!

Ну вот мы подъехали к нашему пионерскому лагерю. Главный его корпус был, как и бараки у немцев, чист и опрятен. Над дверьми, пригвоздив чердачную дверцу, красовался плакат: Сталин, с негаснущей трубкой что-то говорил самой счастливой на свете смуглой девочке. Снизу была надпись: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство».

Всё началось со шмона, т.е. проверки. Отобрали у курящих спички и папиросы, нитки и иголки, а больше ничего и не искали. А дальше — завтраки, обеды, полдники, ужины. Не хухры-мухры!

На первой же линейке со мной случилось самое страшное, самое жуткое, самое позорное, что может быть на белом свете в детском возрасте. Трусы мои, сшитые бабушкой из многолетней юбки мамы, расплзлись по швам. Всё для меня померкло: и девочки, и пионервожатые, и лес, и лето.

— Как тебе не стыдно — у тебя всё видно! — захихикали вокруг.

А Юрке Падугу не было стыдно, когда он всё сам показывал! Потом мой старший брат, укрываясь с головой матрацем и лёжа на одном железе, вытаскивал из этого самого полусгнившего матраца по ниточке и зашивал мои трусы. До этого мы были с ним равносильны. Теперь он стал моим опекуном, моей опорой и защитой до конца своей жизни. Где мой брат взял иголку, я не знаю.

Бабушка шила, могла и дать. Но как он её спрятал от обыска? На каждой линейке трусы опять лопались, брат проклинал меня за каждое резкое движение, стыд доходил до предела, пока однажды (не помню, за что был наказан) я не оказался в пионерской комнате. Мы стояли в одном углу — я и Ваня Озоренко — долго-предолго, дотемна. О нас забыли. Потом от голода стали есть ягоды с только что наклеенного гербария. Потом мы описались. Потом пришла пионервожатая Вера Батновская; его отправила в спальню, а меня повела с собой.

Рано мне нравились женщины, даже те, которых я боялся, даже те, на которых страх было взглянуть: врачиха, повариха тётя Валя — все. Там была первая и последняя музыка. Я им нравился тоже. Примите это с пониманием. Верочка Батновская... Как до Евы, Лилит, только предчувствие, мы даже матерные слова не все знали. Для Верочки я искал в лесу, убегая, содрогаясь, разноцветные сыроежки, цветы. Ранняя жизнь шла напролёт. Я никогда не мог быть так влюблён, как в ту, первую пору. А художник лагерный Иван Иванович создавал её образ на протяжении многих дней и ночей. И уж, конечно, я был тут ни при чём... Тем не менее, я мог весь мир вызвать на дуэль, никогда я не был таким смелым. Тогда же, в своём мокром унижительном положении, больше всего мне хотелось плакать — захлёб, теми сладкими молчаливыми слезами, когда ты плачешь не от обиды, а лишь предчувствуя её, предчувствуя женщину, вечный страх перед ней, ощущая сладкую подав-

ленность. Просто реветь и реветь напролёт, а по-нашему — хлюздить. И вот, Вера в тёмной комнате подарила мне шёлковые фиолетовые свои трусики и в спину толкнула ласково: иди, иди. Детский срам нестерпим. Это было первое моё трагическое чувство. Спасибо тебе, Вера. Ну вот, я описал свою беду. Дальше у меня были почти одни радости.

И теперь я вернусь к бедам Бены Руфа. Ну то, что он Руф, немец, фриц, — это скоро надоело, наскучило, как и мои лопающиеся трусы.

Кто будет начотряда, звеньевыми — это в первый же день решила пионервожатая Вера Батновская. А кто будет нашим Королём, решил сам Король — Женька Степанов. Ему завхоз, подхалим при управлении, давал вентиль-вертушку от крана, и Женька мог поить холодной водой кого захочет. Это раз. Тот же завхоз дал ему ключ от столярки. Это два, и уж такое два, что я его никогда не забуду. Там Король с его свитой делали парабеллумы (6 горбушек хлеба), автоматы (4 горбушки, или утреннее масло, или желток от яичка), наганы (3 горбушки) и вооружали всех, вплоть до девчонок, оставляя нас без хлеба. И все на это с радостной неохотой шли и соглашались с таким поганим подобострастием! Но — три холеры, две чумы, — Бено Руфа не взял в руки деревянного, но почти как настоящего оружия. Потом его били втёмную. Я, признаться, помогал — стоял на шухере. Не знаю почему, но с той ночи от него отстали, но за столом ни белых, ни чёрных ломтиков хлеба у него никогда не было...

Бил барабан, трубил горн, мы пели песни и собирали цветы и травы для гербария, землянику, чернику. Кушать — на первом месте. Нет, медного голода, сосущего, склеивающего пасть ты уже не испытываешь. У тебя даже есть послевоенное достоинство, когда ты не сразу хватаешь свою порцию.

Потом — спальня. Полусытые, все идут туда умиротворённо. «Говорит Москва» — громко хрипела чёрная тарелка, и тут начинали бить — не сильно, незлобно: так принято, а дети за родных не отвечают. Верховодит Король. Но надо мной власти у него нет. Однажды в мёртвый час я стал рассказывать «Чёрную курицу», с тех пор он лез ко мне под одеяло — противно взрослый и сильный. Только пуканьем, и то на время, можно было от него спастись. Но был я факир на тихий час, дальше моя власть не распространялась.

Часто нас взвешивали. По трапу, по лестнице без ступенек, а только с планочками, мы забирались куда-то наверх, где пахло затхлой мучной пылью, склизкой русалочьей теменью, бог знает чем. И в этой тьме нам совали в рот ложку бактериосфата — бычьей мочи, но за это не строили нас на линейку. После лекарства нас взвешивали на товарных весах. Все мы были на одно лицо и почти одного веса, но вот Бена Руф, куда длиннее Короля, весил меньше самой маленькой девочки.

И вот однажды, когда Женька-Король, предварительно проветрив мою постель, настроился слушать про кудах-кудулу, он вдруг рванулся к про-

ходу, где спал Бена, который уже два дня не мог встать ни на завтрак, ни на обед. Над ним и так издевалась судьба, природа — дети очень тонко улавливают беззащитность, обречённость — над всеми нами изгалялись. Бено даже не пикнул, он был на полу. А Король содрал его матрац, и там вся пружинная сетка оказалась покрытой зазеленевшим, замшелым, махитово-красивым хлебом, что вызвало у всех отвращение и ненависть. Значит, он принципиально не съедал свой хлеб?! И всё бы это плохо кончилось, не появившись вдруг начальник лагеря...

Бено Руф. Что ещё добавить к его портрету? Однажды на картофельный, уже с ботвой, участок забрела тощая, чахлая лошадь. Мальчишки, оказавшиеся рядом, стали бросать в неё камнями. Чем больше злобы было у нас, тем беззащитней было её неуклюжее тело. Чей-то камень достал её до крови. Только Бена не метился, не кидал, стоял в сторонке. А картошка-то росла как раз ихняя! Тут из барака выскочил трудармеец Арнольд Фердинандович, худой немец, разогнал нас одним своим видом, лошадь приласкал, успокоил. Подумал: откуда, из пожаркома? И посадил на неё Бену Руфа верхом, и повёл мимо всех барачных, а мы бежали и просили:

— Арнольд Фердинандович, прокатите нас тоже!

У барачных детей мрачные, чудные радости. Копают яму, уходят рабочие, и мы там устраиваем штаб. Устилаем дно хвоей. Мечтаем о великих победах, заманиваем девочек перевязывать наши будущие горячие раны, а через день на этом ме-

сте появляется свежеструганный сортир... Какому пустяку радовались мы, на что умели надеяться. И страшно подумать, затем ли живет человек, чтоб хотелось ему больше и больше для своей ненасытной утробы...

У судьбы лишь полколеса окрашено чёрным цветом, вторая половина — розовая. Бену взял таскать рейку отец Ральфика — инженер-геодезист.

И вот моей бабушке, стоящей с ведром у колонки, издали кричит Бена:

— Баба Оля, здравствуй!

— Ты куда в такую рань собрался?

— Баба Оля, я теперь работаю!

— А кем?

— Гимназистом (геодезистом, значит).

Прошло девять-двенадцать лет после пионерлагеря. И вдруг матушка мне говорит:

— Иду вчера, на остановке стоит — кто бы ты думал? Бено Руф! Так похорошел, ты даже не можешь себе представить. Ящик водки купил, приходите, говорит, ко мне на свадьбу.

Нет, чтоб меня согрела радость, а кольнула зависть. Даже не кольнула, не ужалила, а так, преследовало весь день подленькое: а чем я хуже? Только было бы ради кого! Я тоже стану другим. Я ревновал его невесту, не зная её, даже её имени.

...Курю я со второго класса. Я курил и в шахте, где при внезапном выбросе метана, попади в него искорка «Севера» или «Беломора», и следа от тебя не останется. Карают за это строже всего. Но однажды мы с моим наставником курили, и нас попутало начальство:

— Демидов! Вы в шахте курите!

— Да я не в затычку, — флегматично ответил он, и от нас отцепились.

И вот через два-три дня после известия о свадьбе Бены Руфа мы сидели на солнышке, и бригадир сказал:

— Перекур, братцы.

От курева и ста грамм никто не откажется. Я оторвал от многотиражки уголок, стараясь не показать виду, что самокруток я вертеть не умею, и пока ждал порцию табака, машинально прочёл на этом клочке:

«С глубоким прискорбием...

о трагической смерти...

Бено Арнольдовича Руфа.

Вынос тела...»

Это был некролог. Я, когда пришёл в себя, побежал к диспетчеру:

— Вы читали? Как он погиб?

— Да этот дурак на подстанции, где что-то перегорело, забыл плоскогубцы, ну, вернулся за ними, а с пульта плакат сам же снял. Ну, а кто-то врубил ячейку. Десять тысяч вольт. И осталась одна головёшка. И рудник из-за него два часа простоял... Так что премии нам не светит!..

* * *

...Вначале было дело. Нам, поступившим в техникум, выдали новенькие шинели — с чёрными бархатными петлицами и васильковыми кантиками. Запах грубого сукна нравился мне с раннего детства, когда солдаты брали нас на руки

или сажали на колени. Мишка Галкин сорвал у матери, любившей комнатные цветы, первый распустившийся цветок с китайской розы, надушил его отцовским одеколоном «Шипр», и мы пошли и сели на лавочку против дома. И казались мы себе такими многоопытными и искушёнными. Надо вовремя умереть, чтоб не разбавить пустой водою, не потерять этих ощущений, этакой наглой робости.

Так, я долго боялся признаться матери, не желая огорчить её, что курю, хотя курил с малолетства. Обнаружилось же это довольно забавно и неожиданно. Мне отчаянно хотелось доказать, какой я уже сильный, взрослый, для чего я научился висеть на турнике на согнутых в коленях ногах и, раскачавшись, вставать на ноги. И вот, когда я показывал матери свою неустрашимость и ловкость, висая вниз головой, у меня из кармана посыпалась махорка, а из другого выпали спички фабрики «Белка».

— Ах ты, негодяй, — сказала мама, — я давно замечаю, что ты зелёный с улицы приходишь.

...Что я знал о женщине, о женской красоте — по репродукциям, по сестрёнкам школьных друзей, одноклассницам, по снам и стихам Блока? Хотя на сны ты не тяни — и прошлое, и грядущее там же, правда, нематериальные, и только с этих позиций на них можно волочь. Я уже перестал летать во сне, но девушки мне снятся ещё как — самые лучшие девушки на свете...

Вот так мы и сидели, ожидая неведомого. Вдруг идут две девушки.

— Девушки, мы с вами айда? — храбро говорит нарядный Мишка.

И девушки молча согласились.

Идём — под уклон, возле цементного завода — ноги у них скользят, не слушаются. невольно приходится оберечь, придержать — первое в жизни прикосновение... А потом — болото, кочки, мостик через речку, белые срубы в начале деревни. Старая лодка. Она рассохлась, разлезлась, синий цвет её превратился в грязный — серо-буро-малиновый. Лодка заросла репейником, лопухом, полынью и была уже ни на что не пригодна. Но это только с виду: для воды, из которой мы все вышли, конечно, она уже не годилась, а для суши, где лодки вообще не плавают, а только доживают, в самый раз. Сдвинуть её с места уже невозможно. И какую-то трогательную белиберду вызывала она в сердце. Лодка по ночам слушала шум деревьев — то же самое, в генетическом плане, была и она. Она от них мало чем отличалась, разве что плохой памятью, но на две-три смерти она была их мудрее... Около неё мочились собаки, перекуривали бродяги, но чаще всего она оставалась одна. Было тут и утешение: рядом стояла глухонемая церквушка, и ей тоже бывало одиноко, но внутри неё пела время от времени бензопила. Лодка, кажется, это слышала и уж, конечно, понимала. Ночью и нам бывает тошно, а какой спрос с них, с неживых предметов?...

Я хорошо знал эти места. После войны мы продолжали голодать, а здесь, около деревни,

росло сколько угодно шампиньонов. Местные жители кормили ими коров, пока не приехали геологи-изыскатели, объяснившие что почём. Не было для нас высшего счастья, чем их собирать. (Так дети, втихоря от бабушки, находят в сене куриные полутёплые яички.) Бывало, каких только грибов не соберёшь в лесу, еле ноги тащишь — устал, а эти белые красавцы всё равно хочешь взять. Одна беда — их так много, что просыпается или пренебрежение, или жадность. Тельняшки, рубашки, майки — всё превращается в тару.

Так что эти места я хорошо знал, но наедине с девушкой был здесь впервые. Мы по пути с Мишкой перешепнулись: кто с кем.

— С кем же мне ходить? — дипломатично спрашивает он у меня (нашёл у кого спрашивать!).

— С Нинкой или Галкой? Кто, по-твоему, красивше?

— Конечно, Галка! — выпалил я.

— Да, но Галка — швабра, т.е. мать у нее швабра, уборщица.

— А твоя мать — графиня? И отец твой — кладовщик без клада.

Тогда Мишка вытащил из петлицы шинели чайную розу, преподнёс её Гале и ушёл со своей барышней за угол сруба.

Я ушёл со своей. Она сидела чуть поодаль как неприкаянная, и, при всей своей неопытности, я усёк, что меня не любят. Потом мне это чувство станет знакомо, известно, но тогда мне было жалко её: за то, что я ей не нравлюсь, что она не зна-

от, как избавиться от меня, что люблю только одну её щеку и какие-то дикие конопляные волосы.

Спасибо комарам-вурдалакам — наше неуклюжее ухаживание тем и ограничилось. Правда, Мишка до самого дома трещал о своей неотразимости, о стружках в углу сруба. И не знал он, что нравится мне другая — его.

К Мишке у меня не было неприязни, но себя терзал, что оскорбил существо любимое, неважно чем — робостью или наглостью своей любви внезапной.

И всё, и на этом, казалось бы, завершается сюжет, Но ничего подобного! «Благосклонный читатель может слушать дальше».

* * *

Наш литкружок. Кроме прочих, на кружок приходит Иван Иванович — он пишет очерки, то под Джека Лондона, то под Мамина-Сибиряка — хорошо пишет. Милиционер Рассудихин — ни гугу о милиции, а носит стишки детские, типа:

Мы построили ракету
и собрались на Луну,
но не знаем, как оставить
дома матушку одну.

Или песни. Его печатают охотно для «субботнего чтения». Ещё одна старая учительница ходит. Та повестушки пишет, все они заканчиваются на вокзале таким образом: «Паровоз набрал скорость и радостно свистнул». Про что ещё у нас

пишут? Про родной город на Каме — там, где со-
сны и ели да песни, — это все пишут.

И зимний город в поздний час
из снежно-белой ваты
ночным огнём стеклянных глаз
взглянул подслеповато...

Это одна новенькая написала. Всем очень по-
нравилось — образно. Только пенсионер Наще-
кин не одобрил:

— Вы послушайте, как Бальмонт написал:

...Лебедь пел всё тише, всё печальнее.
И шептались камыши.

Или вот:

Наши чувства — точно тени
Тех, что снились достоверней.

Что касается меня, то я, по общему мнению, подражаю Есенину — печатать в газете не стоит. Газета должна быть читабельной и боевитой. И впервые я подумал: и что мы всё выдумываем, чего с нами не было, чего и вообще не бывает на белом свете? Стыдимся себя? Боимся показаться скучными и глупыми? Подонки. Почему же никто не скажет, что писателем надо родиться?

Китайцы говорят, что женщина — не женщина, если в ней нету «поди сюда», магнитной, притягательной силы. В литературе тоже должна быть эта сила — «поди сюда». Можно писать «читабельно

и боевито», но «поди сюда» — это от Бога! Повод и материал для писания должна поставлять сама жизнь наша, когда невозможно другим способом уйти от своих чувств, разобраться в своих мыслях. Все мои стихотворения — из жизни, навеяны жизнью и в ней коренятся. Стихотворения, что называется, взятые с потолка, я ни в грош не ставлю. Смешно говорить, что действительная жизнь лишена поэтического интереса: в том-то, наверное, и заключается талант поэта, что позволяет ему и в обыденном видеть интересное. И ещё: покуда мы придерживаемся общего, каждый может под нас подделаться, а частное подделать невозможно, а почему? Да потому, что другим не довелось совсем испытать или именно так того же...

— Отпуск должен быть хороший, — рассеянно пролепетал Рассудихин, — т.е. очерк, я хотел сказать, — поправился он.

— Значит, вы, вятские, — парни хватские — семеро одного не боитесь!

Ходил он на кружок редко, а когда сочинил песню с местным композитором:

Большая химия идет,
Большая химия идет...

и его раздраконили, совсем перестал ходить.

— Ну и ляпнул я! «Отпуск должен быть хороший». Это я в отпуск собираюсь, два года не бывал, — к матери, в Киров, — хохотал потом, возвращаясь из кружка.

— Знаешь, какой в Кирове парк хороший, соборы есть, Дом спорта.

— Привет советской милиции! — здороваются с ним знакомый. — Был в Кирове?

— Я матушку сюда перевожу. Пенсию она выработала, что ей там одной делать? Зашёл бы в гости, а? (Мне).

— Да я всё к тебе в отдел собираюсь. Есть у вас там что-нибудь интересное? В смысле расследований, приключений?

— Хватает, приходи — на повесть наскребёшь. Вчера вот весь день — до четырех ночи — на цементном разбирались. Хорошо — белые ночи.

— Что там? — какой-то тошнотный холод прокатился у меня по горлу.

— Да у вас на базисном складе... Ты что — не слышал? Есть там за складом такая поляна, где «ВВ» (взрывчатые вещества) уничтожают... Да, по ассоциации, чтоб не забыть: Нобель — я вычитал — изобретатель динамита, оказывается, тоже подписывал, как мы с тобой...

— Что там! — боясь ответа, крикнул я.

— Подорвались двое. Одна молодая, ребёнку три года. Другая, как моя матушка, давно на пенсии была — у них подземный стаж...

— Галя!

— Сам понимаешь, по правилам уничтожения «ВВ», патроны надо разминать в руках, сыпать аммонит, как соль в суп, понемногу, осторожно. А они, видать, торопились и махнули в костёр всю сумку — сорок килограммов.

— Галя! Галя! Заткнись ты, Рассудихин, — нет больше моей Гали?!..

— Очевидно, с аммонитом попал и детонатор.

Сам знаешь — разнесло на все стороны. Такая сила, что одежду с тела сорвало. Одни резиночки от панталон остались. Ты где вылезаеть?

Гали нет... Резинка от панталон... Да, он сказал «отпанталон». Вот почему ты, Рассудихин, милиционер и графоман. Ты трусы не можешь назвать трусами... «Большая химия идёт»... Но я-то сам? Я только в первую минуту испугался. Теперь мне не страшно и не больно... Какие нарядные яблони там, за окошком троллейбуса. Кажется, мне не жалко Галю. Шок? Нет, я даже чувствую спиной мягкую подушку сиденья. И вспомнилось, как у нас один чудик в техникуме сдавал экзамен. Его спросили: «Как охраняются склады со взрывчатыми веществами?» А он: «Высокий деревянный забор, а по периметру собаки на цепи бегают». Ну, мы все так и усохли.

Так-то. «Мы все легко переживаем смерть ближнего» — прав был Ларошфуко?

Мистики верят в зазеркалье. Ждать возвращения из зеркал? И откуда эта примета: закрывать зеркала? Удваивать смерть? У академика Крылова есть теория непотопляемости судов...

* * *

— Галкина? — спросил я новенькую, когда вышел шеф. Я знал, что она живёт с Мишей Галкиным после того памятного свидания.

— Катаева. Мы же с Мишкой не расписались. Мать у него хорошая, Лидия Павловна. А отец против был. Так и жили.

Вошёл Ваня Ключихин, подмигнул мне — дескать, заполним анкету. У нас была игра с новенькими. Если кто из поступивших на работу спрашивал шефа, Ваня доставал несколько листов бумаги и, солидным кивком головы показывая, что он и есть шеф, начинал заполнять анкету. Выяснялись возраст бабушки и дедушки, замужем ли и т.д. А если кто-то спрашивал, где тут у вас красный уголок, его непременно посылали на копёр — сосчитать четыреста три ступеньки. Так продолжалось, пока дверь на копровую лестницу не закрыли на замок. Это называлось «покупка».

— Ничего деваха, — подмигнул он мне после анкеты. — Есть за что подержаться. Ты, Левонтий, не теряйся. Сейчас весна, бляха-муха, птички поют, щепка на щепку лезет... закрути с ней роман любви. Не баба, а фабрика грёз и на передок слаба.

Потом Галя поведала о себе и Мише:

— Мишка, пьяный, повёз подружку Аннушку на вокзал — нравилась она ему. Я, конечно, переживала, но виду не подавала. Налетели на бетонный столб. Ему — ничего, а у неё — кровь из горла ручьем. Костенька, старше моей Ноньки на год, всем хвастается: «А у меня мама умерла», а в глазёнках слёзы.

— Ты его ещё любишь?

Галя глубоко, по-мужски, затянулась сигаретой:

— Трудно это объяснить. Последнее время просто ненавидела. Работал он на холодильнике — никуда больше не брали — таскал у живых и мёртвых; а попробуй дать соседям хоть горсточку соли! Сначала мне нравилась его независимость.

Ведёт машину одной рукой, а другой — меня обнимает... Сейчас спать ложиться — то будто читаешь, то нарочно стирку затеешь, то голову завяжешь. Чтоб не приставал.

* * *

К электричеству я, разжалованный в электрослесаря, особых симпатий не питал. Мне было лет семь, когда у нас в подъезде пацаны разбили клюшкой выключатель, и я, возвращаясь как-то из школы зимним вечером, ухватился за оголённую фазу. Мне чуть не вытрясло мозги. Отбросило на пол, но ничего — Бог миловал. Да и деревянные копры не вызывали особых симпатий. Туда, где немецкие сторожевые вышки, мы таскали ртутные выпрямители, и нас пугали: осторожно, осторожно — ртуть, ежели что — детей не будет.

Бригада у нас была женская, мне, молодому, неженатому, робевшему в таком обществе, отчаянно жалевшему работавших на шахте женщин, было нелегко.

— Начальник был здесь? На отпуска записывал? Мужик мне говорит: «Вся исстоналась, всё у тебя болит — иди в отпуск». Так что возьму в декабре и поеду в Москву, за апельсинами.

— Ой, девки, что мне снилось сёдня! Будто слесарь наш дежурный (в мой огород камушек) стоит спиной и блюет вон в тот угол, целую кучу наблевал, ага. А потом идёт как бы, бледный, и несёт в руках ананас. Я говорю: «Ой, дай попробовать — сроду не едала». Беру его в руки, а он совсем как настоящий, только очень мягкий. Ободрала кожи-

цу, почистила, а там — ребёночек, мальчик, пипка прямо из пупка торчит, такая большая. Ручки, ножки — всё, как положено, только молчит. «Что это ты мне дал?» — спрашиваю. Я будто хочу его попробовать, так хочу, да жалко резать. А Лёшка мне говорит: «Ничего, режь, дурочка. Это настоящий ананас, только он животного происхождения».

— А мне снилось: телефон названивает. Ну, думаю, дежурный по шахте, а это — будильник.

— Ну, пошли, бабы, робить. Наелись ананасов...

— Да, если уж инженера из начальника смены разжаловали за то лишь, что запил да чуть не повесился...

— И кто за нас работать-то будет — Пушкин?

— Видимо, это очень трудная профессия — Пушкин. Он за всех всё пережил, сделал, прочувствовался, «изпязался».

Вишь, радость нам оставил, если подумать.

Оборудование у нас старое, немецкое, болты не отвернёшь, приходится «сдувать» сваркой. Электрод прилипает. Нахватаешься с непривычки «зайчиков» — всю ночь глаза режет. Да тут ещё каких только шуточек, откровений, полунамёков не наслушаешься от бойких молодюшек...

* * *

Я не сплю, ворочаюсь, переворачиваю подушку на холодную сторону, стряхиваю с простыни несуществующие крошки... Мысли скачут — рваные мысли, воспоминания. Крошки от хлеба... собираем в постели и едим с братишкой в промерзшей комнате. Брата нет... Галя — ей пло-

хо с Мишкой Галкиным. Как я сохнул по ней — тогда. И как всё разом тогда навалилось — брат, Галя. Не выдержал — запил. Неприятности на работе. Эта встреча опять... Вдруг мне на ум приходит, что подушка похожа на лист мать-и-мачехи: сверху тепла, а снизу — прохладна. Интересно, есть ли тут «поди сюда»? Впрочем, само название «мать-и-мачеха» — образ, а сравнивать что-то с образом — это уже какая-то трансмиссия получается.

...Галя — отчетливо, мучительно нахлынуло, всколыхнулось то, полузабытое, что пытался вытравить из памяти, забыть, заглушить: попытка к сближению до того, как она окончательно ушла к Мишке, моё неуклюжее ухаживание...

Она надела тогда синее платье с красным поясом.

— Идёт мне?

— О, да! Ты, вы — милицейская машина!

— Бессовестный, а Мише понравилось. А вы всё шутите, Леонид Алексеевич, всё шутите.

— Ну вот и она, — досаду про себя, — да Алексей я, Алексей! Что же это, отца называли Лёшей, а меня — его именем. Ну и иди к своему Мише! — чуть не вырвалось у меня с языка. — Он тебе «пиланез» Огиньского сыграет.

И одновременно ликующе в душе:

И каждый вечер, в час назначенный,
Иль это только снится мне,
Девичий стан, шелками схваченный,
В туманном движется окне.

Когда ты взглядываешь на меня своими серыми глазами, мне хорошо и страшно:

— Ресницы твои как шпицрутены! — Боже, ужаюсь про себя, ну и ляпнул, тут и литкружок не поможет!

— Почему ты ничего не рассказываешь?

— Болтун — находка для врага, — мямлю я.

Я боюсь дышать, не только говорить, и голос мне кажется чужим, фальшивым — Мишкиным. Мне хочется с ней молчать — вот она, любовь, когда есть с кем молчать! Что я, как Мишка, должен вздохнуть во всё горло или просить, чтобы ты прихлопнула мне на лопатке комара? Или просить, чтоб пустила за пазуху к себе — согреть замёрзшие якобы лапы? Пусть этим занимается с тобой Мишка. Пусть танцует с тобой народный танец. А я боюсь! А мне надо надевать диэлектрические боты и резиновые перчатки, потому что меня бьёт током — как в детстве.

Галя, конечно, не слышала моего внутреннего монолога — засобиралась:

— Надо идти, — вздохнула она, — мать скажет, опять курей не загнала.

— Курица — слово иностранное. Курица во множественном числе... — я не успеваю добормотать фразу. Галя вспыхнула и отвернулась.

— Да, знаешь анекдот? — я пытаюсь замаять свою бестактность. — Ученик спрашивает у отца: как правильно написать — путилка или будылка? Отец подумал-подумал и говорит: напиши пузырок. Забавно?

— Забавно. Ты вот всех поправляешь, учишь, будто один книжки читаешь. У нас мать так гово-

рит, вот я и передразнила. А тебе или смеяться, или учить надо! А сам ничего не говоришь и других не слушаешь! Скучно тебе, думаешь, я не замечаю? — И ушла.

«Я, дурак, боюсь есть лук, чтоб от меня не пахло, а целуется она с Мишкой!» — думаю, когда плетусь домой.

Через несколько дней я зашёл к Мишке. Он жил тогда у одинокой женщины Августы. Мы с ребятами иногда приходили к нему, играли в карты — обыгрывали Августу в «очко», пили чай, она пекла жаворонков. У Мишки была отдельная комната. Выигрыш складывали в пол-литровую банку, накопив треть или половину, отправлялись гужеваться на рынок. А пришёл в этот день я к нему, т.к. увидел в почтовом ящике извещение на книги (матушка выписывала из Москвы) и решил взять займы из банки. Мне открыла Августа, не поздоровавшись, прошла на кухню. Я сунулся в мишкину дверь — он бросился ко мне и оттеснил всем корпусом, даже привстал на цыпочки, чтобы заслонить. Там сидела Галя. Играла бахромой вязаной скатерти.

— «Татьяна поясок шелковый сняла, разделась и в постель легла», — ревниво-многозначительно, закатив глаза, продекламировал я.

Галя вздрогнула, покраснела и что-то хотела сказать.

— Не волнуйся. Это нам по литературе в техникуме задали, — успокоил я, — повторяю домашнее задание. Я хочу стать серьёзным человеком, как Миша. Я буду всю жизнь по капельке выдав-

ливать из себя раба; трудное сделаю привычным, привычное — лёгким, лёгкое — прекрасным. И на моей могиле напишут: «Мера дел его исполнена, и душа его чиста перед Богом». А вы придёте кудри наклонять и плакать.

— Я не такая грамотная, как ты, зато и не такая злая! — встала, повернулась и ушла.

...Я мечтал о ней. В голову лезли бредовые стишки:

На берегу пустынных волн
Стоит Катаева Галина.
Она мне счастье подарила,
И я надежд великих полн...

Собственно моих тут всего две внутренних строчки, да и «стоит» — почти не моё. И первый раз то, что я написал, мечтая о любви, — не фонтан:

Без Изольды Тристан умирает от ран,
И в бреду Дульсинею зовет Дон-Кихот.
Я не знаю, не знаю, какая судьба меня ждёт,
Если рядом не будет тебя.

«Не знаю, не знаю» — явно не находка. В стихах не должно быть ни одной бесполезной буквы... Бред всё это.

Мысль: что ты умрёшь. Или будешь больной. Мечта: ты больна — я прихожу. Ещё мысль: ты уезжаешь — я останавливаю поезд. Ты просто удираешь, тебе просто пора домой — я дарю какую-нибудь игрушку на память...

Как-то вскоре после той встречи у Мишки решили мы своей компанией сделать грибную вы-

лазку, погулять по лесу. Получилось так, что никто, кроме нас с Галей, не пришёл, то ли предчувствуя непогоду, то ли мое желание быть с ней наедине, а может, и нашу общую с ней склонность к уединению. Пока мы ждали, она стояла, потупившись, перебирая полу кофты (как тогда, у Мишки, бахрому скатерти). Потом вдруг дурашливо встрепенулась — взяла меня под руку, строго следя, чтоб во мне не сработал релютив, выключатель, так меня притянуло и потянуло к ней (ещё несколько ватт — и схлопотал бы по морде), и мы пошли одни.

— А у тебя одни рёбра! — почти восторженно вскрикнула она. — Одни рёбра! Кожа да кости — Кощей бессмертный! Что, опять, видать, мужики в командировке, Лёня? Гуляем! А у меня сёдня кошелёк вытащили!

Она была как крепкое спелое яблоко, и пахло от нее яблоком. Я так же радостно, в тон ей спросил:

— И много в нём было?

— Насрать, — бесшабашно махнула рукой, — всего восемь рублей. Я за ключи испугалась — будем ночевать на улице! Папки дома нету, ключей нету!

По дороге нас догнали двое наших — опоздали, бегали за чекушкой. Не заметили, как потемнело, и — вот досада — начал накрапывать, а потом хлынул дождь! Побежали спасаться в лес — благо почти дошли. Штанины по колено облепило мокрым песком, они хлопали по икрам, как чужие, снятые с покойника. Добежали. Спрятались, промокшие, под сосной. Какие уж тут грибы! Переж-

дав немного, набрали полусухих веток и кое-как развели костёр. Я снял и накинул на Галю тёплую внутри, не насквозь промокшую шинель. (Шинель — не в плохой, а в хорошей обиде вспоминаю теперь о тебе: что-то в тебе есть!)

— Ну как?

— А помнишь, я надела синее платье с красным поясом, и ты сказал, что я похожа на милицейскую машину? Я тогда сильно обиделась на тебя. Если б ты знал, с каким трудом я сшила его, это платьишко.

Сидим, выпили для сугреву, закурили. Парни развлекались тем, что ловили лягушек и давали им курить, пока те, наглотавшись дыму, не лопались. Когда это им наскучило, ушли «лечиться» от простуды, оставив нас одних. Ничего, не сахарные — не растаем... Дождик продолжал слегка накрапывать. Посидев ещё немного, пошли от потухшего костра в глубь леса.

Я пропустил её вперёд и съел два осинового листика (чтоб не пахло изо рта, если будем целоваться). Вдруг она резко повернулась ко мне, так, что я чуть не упал от неожиданности; распахнув шинель, прижала к себе, укрывая меня ею. Я почувствовал горячие, как две печёные картошки, её груди, от которых прогрелись обе наши рубашки, и тепло от неё перелилось в меня.

— Какие у тебя груди!

— Знаешь, я когда-то давно, девчонкой, загадала, увидя падающую звезду, чтоб они у меня выросли, хоть для самого маленького лифчика, а то фигушки были.

Я целую тебя наугад: глаза, волосы, отдающие слабым теплом и чуть горечью, шею, оголившееся плечо.

— Хочешь, я сама тебя поцелую?

Губы пресные, теплеющие и солонеющие постепенно... Диффузия. Золотой и свинцовый брусок... Я хочу раствориться в тебе, стать тобою, стать одним существом...

— Подожди, милый, ну иди, иди... сейчас... Ты меня любишь?

(Где ж найти точняк предчувствия первой близости с женщиной?)...

— Ты лежи в одном положении, не теряй тепло, — благодарно целую её руки — скольжу кончиком языка и нижней губой по безвкусным почти и морщинистым сгибам пальцев... Она лежала как покорённая, но неведомая страна. Загребай в горсть мои мокрые волосы, дави мне ладонью на веки — мне все это приятно, — но теперь я всё больше к тебе чужею.

И вот мы сидим, молчим по душам, и у обоих одно желание: чтобы повторилось то. Уж ждём не так, не для радости, а чтоб скоротать время, а может, и повторить чудо, и будет ли так же? Я целую её мокрую одежду и подлою, сторожевою мыслью ощущаю, что никакой разницы нет между кожей и тканью. Я буду теперь любить песок, сосны, камни — весь мир, потому что он был благодаря тебе!

...Вдали слабо, будто папиросные огоньки, обозначился город. Мы шли в темноте по лужам, по-

ворачиваясь спиной, почти инстинктивно, к проезжающим машинам, редким прохожим, обнимаясь и пошатываясь. Дошли до Ждановских. И тут я впервые опрокинулся:

— Пойдём ко мне, у нас всё равно ещё спят.

Почему я не мог отплатить ей той же монетой, ведь тело и душа — моя собственность? Пусть другим принадлежат мои поступки, разум. Другим совершенно не нужно того, что во мне главное. И это никому не мешает...

Дома меня не поняли — сорвал охотку. Потом я и сам понял, что всё это предназначалось не мне — Мишке, в отместку ему, раз не пришёл. И всё же... Дерьмо ли ты или гений, а она — земля. Как твой брат, отец — прах теперь она. И где оно, то волшебное, опоздалое слово, чтобы вернуть тебя на свет: твои тёмные, чуть тёплые волосы, послушно сползающую лялочку сорочки? Всё это бред, раз нету тебя. Значит, тебя и не было. И меня нет. А может, правы были родные? — Разумеется, ты её не любил, раз не подох сам.

Галя, молодая... И не будет того дождя... А если и «охотка» — как её увязать со всеми моими «душевыми мытарствами»?

...Словно луковой кожурой крашенное яичко, оранжевеет над владениями жаворонков солнце — сон большой птицы...

ЗАПИСКИ ИЗ «ЖЁЛТОГО ДОМА»

*И мне в сумасшедшей палате
Валяться — великая честь.*

А. Ахматова

*Жёлтый дом, дом для умалишенных,
от жёлтой окраски Обуховской
больницы в Петербурге.*

В. Даль

В приёмном покое мне остригли лобок, дали два левых сапога, бушлат, арестантскую ушанку, вывели на крыльцо реанимации, чтобы вести в клинику, и — прощай, воля вольная! Нянечка, редкозубая козлушка, шла по обочине и всё утешала:

— Ничего, там переменят.

И непонятно было, что переменят — мозги с утечкой или сапоги.

— Жаль, что отсутствует пресса! — ухмыльнулся я, чувствуя, как смешон со стороны.

— Чего? — переспрашивает сопровождающая нянечка.

— Где, говорю, пресса?

— Какие тут леса, все деревья вырубили.

Белесое солнце, бессильное согреть даже слабый ветерок. Старые липы черны, казалось, что и листья у них рождаются чёрными.

Ключиком с квадратным гнездом нянечка отперла двери клиники, и мы очутились в вестибюле. Такими ключами пользуются проводники-железнодорожники. А моя дорога, куда она теперь движет?..

Три бюста — Дзержинского, Ленина и академика Павлова глянули сквозь меня прозорливо и мудро. Убранство вестибюля дополняли стенгазета «Рефлекс» и плакат, на котором два скелета чокались полными бокалами. Плакат завершала глубокомысленная фраза: «И мысли не было такой, что пьют они за упокой».

— Склифосовский, дай закурить, — молодой брюнет, чёрный, как майский жук, встретил нас у порога.

...Положили меня 2-го февраля, в пятницу. Япил много дешёвого вина, и шнурки стали выползать из дырочек ботинок и ползать всю ночь по комнате. Так я попал в дурдом.

Сегодня воскресенье, врачей нет, можно было бы спокойно спать, да психи мешают: такой шум, будто завели сразу сто пластинок. В 6-м отделении некоторые люди спят на одной кровати валетиком и до сих пор, спустя более 30 лет после войны, ходят в атаки. Под кроватями располагаются оналисты — занимаются своими мужскими премудростями. Пахнет мочой и калом, махрой и хлоркой.

Свобода начала мне уже сниться.

Сломал пять дверей, бежал с камнем за бабой Галей (гл. врач). Лошадь валялась в песке, сотни голубей клевали отбросы. Я лёг прямо на землю. И так пахло молодой травой вокруг лица, что я чуть не превратился в лошадь.

— Домой, домой! — одна мечта и требование психов. Полежу, потерплю сколько-то, а там — сбегу. Единственный прибор, который облегчает участь психов, лечит — дверной ключ.

Психи малоинтересны, хотя нет ничего надо-едливее, чем тронутые. Один считает себя чёр-том и спрашивал меня, не чёрт ли и я. На что я сказал, что пока — электрослесарь. Ему стало скучно, и он отстал. Другой спрашивает: «А что, Брежнев тоже член ЦК?» — «Да» — «А он тут ле-жал?». Третий, Иван Фёдорович, считает себя ге-роем всего мира и Советской власти. Он охранял Москву, и ему дали премию. Но деньги у него ук-рали «разбойники» (они лежат тут же), и скоро дол-жен приехать суд, и тогда всех их — и сестёр, и врачей — «шшолкнут». Чудаки ему пишут всякие матюки на бумажках — выписывают из больницы. Словом, развлечение на один день.

Здесь нет воли, обеих её лучших половин — любви и работы; человек лишён самого главного, иногда, увы, на всю жизнь. Нас, как в тюрьме, за-пирают на ключ, редко выводят гулять, да и неохо-та. Баня — раз в десять дней, свидания — по чет-вергам и воскресеньям с 3-х до 6-ти. По телефону вынужден говорить суконным языком — рядом все-

которым они где-то вместе учились, — видно, не даст меня в обиду. Я знал, что в какой-то степени врачи осведомлены уже обо мне от друзей-предателей, и врать старался в меру. Их интересовала вся моя изнанка: биография, семейные дела, отец, как я отношусь к дружбе народов и анекдотам про Чапаева, к работе, религии, искусству, к женщине до и после спанья, к водке — снится ли мне выпивка, что буду делать, если увижу, что бьют ребёнка. И опять: что лучше — космополитизм или славянофильство, люблю ли я Достоевского, не завидую ли кому и т.д. — Это лишь цветики, — сказали, — будем ещё беседовать. Вы сейчас травинка, не умеющая гнуться, — вас жизнь сразу ломает. А мы постараемся сделать вас пружинистым — гнуться и выпрямляться. Но сначала надо выгнать токсикацию, накопленную годами.

Одно мне сказали категорически: пить больше нельзя ни рюмки. Одно время, дескать, водка была для вас подспорьем, а теперь неотвратимо ведёт к развязке... Но это всем говорят.

Лечите всех нас хорошо,
Иначе будет плохо.
Все мы, младое поколение,
За мир и за войну.
Мы любим землю.
Знаем мы планеты,
Где строят коммунизм,
Социализм и космополитизм.
И наших жён насилуют и убивают,
Крадут невест и садят их в гарем.
Война-то будет в СССР и на Земле.

Подонки все погибнут, как собаки, (медики, гипнотизёры, милиция).

А честные останутся
и вечно будут жить!

Гуськов:

— Переубедить нас невозможно. Бороться с нами бесперспективно. Мы с вами в прошлый раз поговорили, печки-лавочки. Здоров ли, болен ли — не надо перегибать палку! У тебя в голове бананово-лиловый Сингапур, а на носу солидол. Надо менять работу. Слесарь... Не ты идёшь по жизни, а она тебя волочит за собой. Пить нельзя — и так ты уже на грани. Женись, и пусть жена всем заправляет, не стесняйся только подчинения, а ты сиди и пиши стихи. Книжка раз в три года. Два-три месяца спокойного питья, а потом опять долги. И никто-никто тебе не помог, тобой не занимался, в смысле обретения воли. Вся жизнь твоя была такова, что располагала к питью — при повышенной твоей восприимчивости и внешней замкнутости и скрытности.

В довершение всех радостей явилась в палату зав. клиникой, склеротическая старуха (баба Галя), которая чуть не положила Роберта вместо меня — так всё путает и забывает. Я, говорит, специально к вам пришла, вас проведовать — а где ваша улыбка? Такая светлая голова, мы вас подлечим инсулинчиком, апоморфинчиком и т.д. А кого она «полюбит», того лечат до «победного конца», продляя неволю.

Впрочем, врачи тут вежливы и человечны, однако строги.

В отделение приходят каждый день студенты, и профессор Гуськов хорохорится перед ними, выволакивая на свет Божий то одного, то другого больного. Плохо попасть в «кролики». Но в основном, демонстрируют уже совершенно законченных идиотов из других отделений.

Есть тут у нас некий Ваня Рукавицын. Ручки младенца сложены на коленях, лысая голова с седым пушком опущена почти до пояса. Он её время от времени поднимает и произносит такие вот монологи:

— А в этом строе правда — неправда, Бог не тот. Шубу ему подложили, а он взял и обосрался... А поймал меня не «красноармейча» — я был «умничей» — я был утащен, а имя мне — человек, а сейчас зовут со-собакой. Николай, который казнил меня, будь он проклят. Вы не птицу поймали, а социалиста. Но одну он поймал, вредную, которая бросила ему мясо... А звали его не монашкой, а барин с ведром. Стал кусаться, лягаться. А который съел меня — воробей. Но в этой державе поговорил-поговорил и обжёгся. Того звали молоком, ярим молоком, молоком с бритвой. А который кусочек — тот не умирает, а когда умрёт — сдохнет... Стали по ниткам стрелять, а который бросил мясо, тот обзываться стал, щипаться... Люба, от которой океаны, страны, кандидатом от которой пчёлы. А которая 13-я пчела — забыл... Они поглядели на строгое имя человека. Звали меня наоборот, звали меня рукавицей... Монголия, Монголия, Китай... гвозди. Моё имя было решет-

чатым, а твоё — воздушным. Очень меня испугал, болван, болван, болван... После меня звали спичкой... в каждой спичке — спичка... в каждой сайке — сайка...

Диагноз никому не говорят до выписки, срок пребывания — тоже.

— Мы не алкоголики. Мы временно сбившиеся с пути.

— Сколько выпивали? — спрашивает врач со студентиками.

— А бутылки три-четыре, — спокойно отвечает Лёха.

— Вот видите, — говорит практикантам врач.

— А с хорошей закуской я и больше могу, — заликает Лёха.

Мой лечащий врач, Зоя Ефимовна, скоро, после мартовского праздника, уйдёт в отпуск и передаст дела Трегубову. Это хорошо — хоть справку с другим диагнозом можно будет выпросить.

Варвара, старая дева, очень красивая и строгая. К чёрным как смоль волосам очень идёт белизна халата. Она заканчивает мединститут, а здесь иногда дежурит — подрабатывает. Вот сблизился с полсотней незнакомых людей, а с самой славной, хоть режь, не могу.

Ночью долго не спал. Варвара всё приставала, что не сплю? Не дала в туалете отгадывать кроссворд. Утром испугал её: видно, крепко спал, сбросив одеяло, всё наружу — умчалась пулей.

Днём редко кто спит. Кто пишет письма, кто какие-то формулы, кто вырезает новые стельки из коробок от глюкозы для тапок или стрижёт ногти. Ножницы попадают в наши руки редко.

И здесь, в дурдоме, есть свои стукачи. Помогают нянечкам мыть полы, прислуживают знатным больным, помогают связывать разбушевавшихся друзей. Чтобы скорей выписаться на волю.

Врач баба Галя опять сегодня меня обхаживала. Да уж, от её благосклонности могут продержаться в клинике сто лет!

— Не спится? Что, водку бегаετε ищете, не можете достать?

— С уколами мне ничего не снится. Но вот нынче днём задремал, и снилась водка. Она была кислой, как уксус.

Я неправильно сказал. Практически каждому снятся сны. Я не рассказал врачу, что выставил в окне раму и выпрыгнул в сугроб, где меня ждала матушка.

На стенах в столовой лозунги: «Русский аппетит — пока шапка не спешит», «Знай — от опьянения два шага до преступления», «Выпьешь много вина, поубавится ума», «В рюмке тонут больше, чем в море» — свинья под этим лозунгом.

Кормят нас как во всех больницах — этого хватает, только каши надоели.

Сижу за решеткой в палате родной,
Вскормлённый лекарством и кашей одной.

Коли не носят сигарет, всегда есть казённая махорка. Передач я ни от кого не приму, будут носить — откажусь и не буду ходить на свидания. Селянкин лично обещал свернуть всем головы, если будут мне надоедать. Они делают вид, что берегут мой покой, ну да ладно.

Котёнок в столовой. Зелёные, как ёлочные лампочки, глазки, а лапки — как вербные барашки.

Собрались убийцы кошек. Оказывается, их можно ошпаривать или подкидывать вверх, и не сразу бросать вниз, а чтобы завертелась и потеряла ориентацию.

— Кошку надо сперва раскачать хорошенько, а потом бросить!..

— У нас была учительница русского языка. Девочек ненавидела, считала всех проститутками, а держала 18 кошек.

Дежурный врач:

— Как вы тут адаптировались? Не смущают запоры? Знаете, говорят, если Бог хочет наказать человека, он отнимает у него разум.

— В некоторых терапевтических больницах страшнее даже, — чём-то мил мне этот пьяненький психиатр, противоборствующий Богу.

Санитарке:

— Сколько вам здесь платят?

— Семь дней на неделю.

— ?

— Желудок испортили, — причитает Миша-татарин, — какой хороший желудок испортили — такой был желудок!

— Овечка, — гневно сказала нянечка.

— Сегодня картина будет хорошая.

— Какая?

— «Дама с собачкой».

— Пушкина? Это, как она там с царицей ходила?

— Какого Пушкина? Чехова. Ялта там. Море. Барбарис цветёт. Бабочки и птицы. Птица — взрослая, а бабочка — маленькая.

Был у меня в четверг Лев Иванович Давыдычев. Потом позвонил, что приготовил для меня кильку (без потрохов), чеснок и лук — что я просил, Лёня принесёт — сегодня воскресенье.

... Баня. Нам не хватило в бане сапог, пока ходили за ними, пришли мыться женщины. Окно в смежную их комнату завесили простынёй. Увидел лишь Валю в комбинашке. Потом простыню сняли, а уж глядеть было нечего.

— Хорошо тебе, Клавдя, вообще медикам — всё видят. Любого мужика себе выберут.

— Тьфу! Я даже не смотрю. Стара я уже для этих дел-то. Что, не сходятся кальсоны? — спросила больного брюхатого старика, мечтавшего о педагогической революции. — Вот тебе другие.

— Садик у вас хороший, сирень скоро зацветёт.

— Корова ляжет, хвост протянуть негде. Я и говорю: живи до сирени.

— Этот дядька больно тощий, который молочком стучит.

Мужик весь в татуировке, выколото множество орденов на груди. Ох, и хороший абажур вышел бы из его кожи у Эльзы Кох!

Лучших смывает волнами,
Пулей сметает с земли.
Грядущему эти люди
Отдали всё, что смогли.
Если мы плачем над ними,
Горько их славим и чтим,
Этим мы лишь изменяем
Лучшим героям своим.
Лучших завет выполняя,
Слёзы не смейте ронять:
Только отважному сердцу
Кровь их дано воспринять.
Лучшие обогатили
Всё, чем живёт человек.
Самые лучшие люди
Не умирают вовек!

Преобладают у нас гуманитарные профессии: начальник снабжения, второй помощник капитана с теплохода «Скрябин», писатели, учитель истории, пенсионер-маляр, я — горняк, отец дьякон.

— Я иконы собираю и книги старые, — говорит Вадим, — надо с дьяконом потолковать.

— А мы церковь реставрировали, — рассказывает маляр, — так обед из ресторана приносили, платили, сколько запросишь.

— Теория функций действительного переменного мнимого числа, где нет корней чётной степени из минус единицы, — толкует мне Молдавский. — Валентность — способность атомов присоединять другие атомы.

Радкевич. Лежал в 1-м отделении. Выписали, но через неделю опять уложили. Делал ремонт, сложил книги в ванну. Краны были открыты, пустили горячую воду, и они поплыли и сварились, пока поэт опохмелялся. Сейчас лежит в другом отделении — маниакально-депрессивный синдром. Рухнул очень заметно: вставную челюсть носит в кармане и при разговоре брызжет слюной на слушателей, говорит с врачами обычно матом. Ко мне относится как-то заботливо, трогательно: звонит и появляется в клинике, когда выпускают на процедуры. И вот что вместе сочинили, Вова в основном:

Дурдом — это логика жизни,
Дурдом — это всё, что есть.
В дурдоме ты только не кисни,
Хоть много плохого здесь есть.

Дурдом — это психобольница,
Дурдом — это всё, что есть.
Дурдом — теперь это жизнь моя.
Дурдом переходит границы...
И в нём ты да я живём.

Рассвет замерцал над землёю.
И вновь бытиё отмечать
Я буду былинкой простою,
Чтоб смысл для себя понимать.

Звезда и дурдом так вместе
Идут в бытиё. Не тая,
Звезда над дурдомом, хоть тресни,
Всё светит ему на года.

Здесь же лежал Коля Кинёв. Это к нему в Кишертъ я собирался по пьянке. И ещё один парень

из редакции, хороший человек, лежит со мной. И сын Гривевского, Кирилл, лечится от алкоголя.

Ещё тут положили одного солиста — орёт на привязи благим матом — никакая писанина немислима.

Олег Дмитриевич сунул мне читать продолжение своего сценария:

«МРС – Международный Разведывательный Союз»

Сценарий Олега Дмитриевича.

...92. Прибегает группа девок-студенток. Они с портфелями и книгами.

93. Звучат пианино и рояли из окон домов и другая, джазовая и оркестровая музыка.

94. Идёт дым из труб. Над дымом пролетает самолёт МРС.

95. Бежит стая кошек во главе с Пеструшкой (у нас, в 6-м отделении, она очень умная и ведёт сама разведывательную работу и рисует танки). Они ведут МРСовскую работу.

96. Сидит секретарша и печатает какой-то сценарий. Вид у неё вдохновенный. В это время вбегает какой-то режиссёр-постановщик и спрашивает, перепечатала ли она произведение?

97. Много домов. На них телевизионные антенны, на которых сидят птицы и поют свои птичьи концерты.

98. Пробегают по мостикам ПКВушки (плывём-катимся-взлетаем).

99. Океан-море. Плывут корабли, океанские лайнеры. Над водой и поднебесьем летят птицы, курлычут и поют свои песни. Плавают разные и всякие акулы, киты и рыбы. Море-океан оживлён, как улицы большого города. Море сияет всякими бликами и расцветками. Плывут туристические лайнеры, летят всяких видов самолёты. В портах у моря-океана цветёт барбарис и другие цветы. Гуляют на причалах пары. Все красиво одеты. Масса цветных газонов. Бегают цветочницы. В очках и без очков. У моря гуляют с девками моряки и шепчут им всякие глупости.

100. Причал-пристань. Идёт масса народу — провожающих. Опаздывают океанские лайнеры. Красивая девушка машет платочком, вытирая слёзы.

101. Парк. Карусели всяких видов. Прокатные конторки мотоциклистов, авто, конников и других игрушек. Дети, взрослые поют о море и играют:

— Так хорошо на море! Цветёт барбарис.

(«Барбарис цветёт! Когда же я попаду на море?», — думаю про себя.)

102. Семизэтажная школа. Бегают и катаются дети. Все что-то жуют.

— Не отдаст она тебе сценарий, — говорю я Олегу Дмитриевичу.

— Прижмём муди, как папе каменному, если не отдаст секретарша. На зависть всем девкам.

103. Платный кинотеатр. Билетёрша в очках требует со зрителя билет, но он утверждает, что любит её, и она пускает его бесплатно.

104. Звонят телефоны, и звонки зовут зрителей в кино.

105. Торопятся зрители, покупают второпях апельсины. Апельсин освежает в кино.

106. Ракета. В ней пара. Летят, целуются.

107. Бегут поезда по многопутью, обмениваются гудками. В одном из вагонов оперативники из Ж-м-п (жандармско-милицейско-полицейского) управления. Они курят. По вагону прошла группа девок, а за ними кондукторша в синем с ключами. Разносят чай и в корзинах всякую съедобу. Ресторан полон — поют, гуляют. Жмэповцы пьют чай и составляют всякие планы. Потом идут в ресторан. Садятся за столик и внимательно оглядывают весь вагон. Средней толщины, с золотыми зубами метрдотельша берёт заказ.

108. Стоэтажное здание больницы. Веранда. Учебный консилиум. У всех озабоченные лица. Идёт перевязка. Из автобусов выбегают врачи, и консультанты бегают в очках. Больные бегают с бутылочками сметаны и кефира. Медсёстры и няни снуют туда-сюда, таскаясь с медицинской утварью. Консилиум ведёт опрос, пишут, успокаивают, дают наставления, что всё пройдёт, и будет вести к лучшему.

109. В больничном парке и ограде цветут ягоды всех видов. По парку бегают медработники и жуют пирожные. — Где у них магазин? Или здесь пекут, — спрашивает он, видя студентку с кремовой трубочкой.

110. Дороги оживились. Везут молоко и сметану. Здание быткомбината, оно ещё не светорекламировано, поэтому все прохожие и проезжающие

смеются: «Светорекламу каждому приличному предприятию!».

На картине Тёркин. Ловко придумана магнитная точка для взгляда — красный кисет.

111. Громадный город. Масса светорекламы. Летят светорекламные самолёты. Масса гуляющей публики. Мчатся автомобили с зажжёнными фарами. Масса фейерверков в парках и садах. Банковские кварталы. Снуют деньгоразвозки. Денег до х... Всяких. Охранники, подозрительные личности, которые торгуют валютой. Большой пассаж-универмаг, освещённый всеми видами светорекламы. С заднего входа автомашина, которую грузит шайка воров, грабителей...

Остальные записи забрала секретарша. Писал Олег Дмитриевич домой не раз, чтобы его взяли — никто не едет, вот он восьмой год и сидит здесь. Видно, письма его идут в ту же корзину, куда и сценарий, а на бумажном самолётике МРС не пробиться сквозь железную решётку.

Жил в Одессе славный паренёк.
Ездил он в Херсон за голубями,
И вдали мелькал его челнок
С белыми, как чайка, парусами.
Голубей он там не покупал,
А лишь только, шаря по карманам,
Крупную валюту добывал,
И чувих водил по ресторанам.
Но, однажды, этот паренёк
Не вернулся в город свой любимый.
И напрасно девушка ждала
На причале в платье тёмно-синем.

— Они деньги мне неправильно прислали. Надо было на самолёте, никто бы не узнал. И банка не устояла. (Ему говорили, что деньги у него в банке).

... Старый профессор Вальдман вызвал такси. Шофёр загляделся на психов, и зад «Волги» сел в яму. Вальдман задерживался, читал лекцию.

— В гробу я его видел, — психанул шофёр и уехал.

Тут вышел профессор с табличкой под мышкой. На красном фоне белой гуашью было написано: «Это — русская картина, это — Родина моя».

Профессор всё хлопочет о своей машине. Раньше у нас, говорит, лежало сразу по пять электриков, а теперь некому концы припаять. Даже к дьякону (с нами лечится) обращался, не знает ли тот какого-нибудь пьющего электрика, которого можно было бы уговорить подлечиться.

О профессоре говорят, что он первый псих. Както читал лекцию, наступил на провод у рампы, произошло страшное замыкание, сцена погрузилась в темноту, а он продолжал читать невозмутимым голосом ещё полчаса.

«Итальянец» подаёт руку профессору:

— Ну, как у тебя дела? Куда-нибудь ездил? А я был в Неаполе и в Риме. Я здесь, в больнице, в последний раз. Уеду на Плутон. Там давно коммунизм, дворцы, кругом бабы голые лежат. Я уже был на Марсе, на Сатурне. По паспорту я Мальков Семён Иванович, 47-го года рождения. А вообще-то не знаю. Мне 90 лет. Я бессмертный. У меня 60 жён. Я даже ангелов е..!

— У меня в Курганской области свой дом, есть телефон, с кем говоришь – всех видать. 15 вёдер малинового варенья в прошлом году сварили с братаном, — целует руку сестре. Потом начинает сватать нянечку.

— Я не люблю делать антабус, боюсь, когда человеку бывает плохо. Вот у нас один поел малины с сахаром, забродившей, и то еле отвадись. А на Банной горе был смертельный случай.

— Денег — куры не клюют у Вальдмана. Угощал в ресторане баб шампанским. Шесть бюстов самого Вальдмана у него дома. Говорил студентам то про онанизм, то про какие-то конструкции сознания.

(Старый психиатр явился умирать в психиатричку. Скопытился за четыре дня. Красный гроб в красном уголке...)

О чём говорили с Валерой? О ракетах, летящих вверх тормашками, о пижонстве летающих без скафандров — кровь закипела, азот... ну, понимаешь, кессонная болезнь... Валера — не какой-нибудь старый пердун, а ученик Келдыша. Кафедру ракетных двигателей расформировали. Шеф запил. Взял пять литров спирту и допился до чёртиков. 43 года в гостинице отмечали, 23 февраля — дал денег на коньяк, а сам пил нарзан. Разбирал в связи с переездом старые бумаги в письменном столе. Нашёл письмо к жене от любовника, с чего запил вторично. Спасли и на этот раз.

— В следующий раз не спасайте. Всё равно сердце не выдержит, или сам повешусь.

Прекрасно знает теорию относительности, но вот куда деть скорлупу от яичка?

Самое лучшее место в дурдоме — уборная. В неё ведут двери, половина которых сделана из авиационного стекла, чтоб психи не занимались посторонними делами. Во время интересных передач — чемпионата мира по фигурному катанию, например, всё можно смотреть, покуривая, сидя на унитазах, только в менее приятном составе, чем дома. Стоят унитазы близко друг к другу. Часто тебя обрызгивают мочой или блевотиной. Август мочится прямо в бачок с питьевой водой. Унитазы всё же, несмотря на гробовую крышку, часто портятся. Чинит их обычно хирург из больных:

— Опять наша техника к посевной не готова!

— Эй ты — голос из помойки!

Олег Дмитриевич:

— Надо сделать межпланетный завод побыстрее. Платить рабочим по 300 рублей. Они за неделю построят. Спать будут в ракете. Домой обедать будут ездить в ракете. Нужно только выписать у секретарши многоалфавитную машинку. Хрущёв не умер. Он пока был у власти, сделал себе подземную ракету. В рыхлых слоях она свободно проходит под землёй.

Срёт, как лев... Чашка с цементом оставлена сантехниками. Съесть, как Бовари мышьяк...

— Чек на 30 миллионов они не найдут. Вот если бы батареи продать. Всё равно скоро лето.

Гриша — экономист. Цитирует эпиграф к «Воскресенью». Читает Блока в сортире:

Дыша духами и туманами,
Она садится у окна...

Смотрели кино по телевизору. Тут у Эльдара начался припадок. Он как-то дико замычал и сполз со стула. Красная струйка стекает по щеке. Если упадёт на каменной лестнице — хана. Закричал как-то по-петушиному.

Заставили меня снимать шторы в женском отделении. Долго искал лестницу. Там была та же чистота, что и у мужчин, но чувствовался уют, хотя ничего вроде не было, видимо, само женское присутствие вносило его. Одна попросила закрасить лампочку у входа. — Нечем, — сказал я. В столовой делали цветы. Навалена цветная стружка; катушки с медными нитками. Витрина с плетеньями, вышивками, разноцветными коробочками.

Когда тащил лестницу обратно, нянька заорала:
— Тише, людей ударишь.

На полу на носилках перед рентгеновским кабинетом лежали два тела, укрытых до головы байковыми одеялами. Кто больные — мужчины или женщины — определить по совершенно измождённым лицам и страшным седым волосам я не смог. Зачем Бог так жесток, что даёт людям сразу две такие страшнейшие болезни — шизофрению и туберкулёз? Мало одной? Здоровым надо жить светло и работать вдвойне за тех, кто остался за больничным забором, кто лишён счастья идти куда хочет.

Лежит в женском отделении мальчик-олигофрен семи лет, разорвавший на части своего маленького брата и теперь обрывающий лапы и крылья у голубей. Чего только не насмотришься и не наслушаешься!

Где мои котятки,
Малые дитятки?
Смотрит мама-кошка
В тёмное окошко. —

поёт старая нянечка и кормит с ложечки Олега.

— Сейчас я тебе хлеба с яичком дам. Ну что, хорошо тебе сейчас? Лучше? Можно отвязывать?

У Олега привязаны к кровати ноги, руки, грудь.

Странные наши тихие беседы по вечерам.

Юра:

— Хирург через неделю, как выписали, вернулся.

Другой Юра:

— Земля под током. Чувствую, что меня заряжают током, как робота. Электроруч скользит по лбу. Идёт атомная война. Нет, думаю, меня не проведёшь — это учение МПВО. ...Инопланетяне кругом.

— Приспособился рыбу ловить: налим, окунь.

— Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу, — поёт Серёга под инсулином.

— Мама, убей их всех! Я нормальный! Я только атомную бомбу изобрёл, вот меня и забрали.

Ему вкатили пять ампул глюкозы, и он пришёл в себя.

На ужин давали варёные яйца, маленькие, как шарики для пинг-понга.

— Какое тут лечение? Вот у Андрейчикова! Посадили в зале сразу человек 50. На стенах картины: черепа, могилы. Рыгаешь и наушники слушаешь: жёны кричат, дети плачут. Артистов много лежало, вот они ему и разыгрывали сцены, потом на магнитофон записывали. Когда помогал переписывать регистрационные книги, нашёл брата двоюродного и уйму знакомых. Самообеспечение: дрова рубить, огород копать. Из Москвы, из Ленинграда было паломничество. Выскочил я оттуда — и на станцию, 0,75 схватил. Уцелел, думаю, надо выпить.

Возили меня к профессору, сказал, что дела запущены, и речь уже идёт о последствиях алкоголя (кстати, апоморфин на меня почти не действует, будут увеличивать дозу, пока сделали восемь уколов, осталось 22). К этим последствиям относятся мои придури, в которые посвятил врачей Роберт, а отчасти, я: беспричинный, малообоснованный страх, нежелание жить, даже попытку кончить всё разом. В то же время он усмотрел во мне скрытность, мешающую им лечить от придурей (параллельно с апоморфином). Поэтому будут вызывать мать и говорить с нею.

Чернобурка, тёща, хулиганство, война, дурдом. Это псих Август:

— В носу страшно, в руке — темно, что это? Говно! Я был в палатах короля!

— Ваш деградированный юмор надоело слушать, — морщится Зоя Ефимовна.

— Я пил «Гавану-клуб». Шесть рублей бутылочка. С кусочком льда и ломтиком лимона. А ещё японское виски с бумажкой на шнурке. Там написано примерно так: мы вам очень благодарны, что вы были настолько любезны, что купили наш лучший в мире японский виски, и тыры-пыры, и такая вежливость, как в надгробной речи.

— А ты пил, Август, политуру? А ты пил зубной эликсир? А ты пил настойку стальника от запора? А лосьон «Ангара», в котором есть ребудин, яд от комаров? А детский одеколон «Мойдодыр»? А ты мазал на хлеб сапожный крем?

Монгольская пословица: «Говорящий правду умирает не от болезней».

Кокетливые зелёные, как юная трава, занавески на зарешеченном окне.

Саша — параноик. Укусил клещ, всё время его с себя стряхивает. Пошёл в туалет, закурил и упал.

Его привезли из дурдома с Банной горы показать практикантам. Он остался без обеда, сидел в уборной, курил махру. Лукин привёл его в столовую, Саня заулыбался, но няньки закудахтали:

— Куда его? Куда? Сколько раз говорили, пусть обедает у себя на горе.

Его опять увели в уборную. Один Серёжка возмущался, что не накормили.

— Кольмили, кольмили, — кивал головёшкой Саша.

— Гады!

— Гады! – отчётливо произнёс он.

— Ничего, на горе ему оставили.

— Оставят ему еду на горе, жди! Если бы мог он попросить. Так и будет ходить.

Серёжа принёс ему в уборную леденцового петушка на палочке и столовского хлеба. Хлеб Саня спрятал в карман, а петушка посасывал, поглядывая, сколько осталось, и восхищённо хихикал. И грозил кулаком свободной руки оконному вентилятору или создателю:

— Б... окаянная! Зараза окаянная!

Котлеты из серебристого хека, глобальных размеров и с душком. Дают три дня подряд. Гриша всех спрашивает:

— А вам тоже давали?

— Саша, скажи спасибо.

— Скотина.

Ирония судьбы. Месяц пролежал без передач, надоела преснятина, попросил принести кильки. Лёня Давыдычев принёс, Володя — воблы. А на ужин дали селёдку. Селёдку спрятали за картину «Бурелом». Вятские леса, но нянечка нашла её и там — закусывали ею на день рождения бабы Гали.

Скоро первое апреля, у мамы день рождения, потом у меня. Первый раз поздравляю в письменном виде. Так и не подарил ей стульчак! Эх, в первый раз и в свой день рождения не выпью! Роберт тут оставил мне три рубля — на всякий случай, но

они мне без надобности. Сегодня, видно, опять нагрянут други на свидание. Принесут «Мастера и Маргариту». Хочу перечитать. Интересное совпадение — в 60-м году у Черепениной в дурдоме, и здесь, в пермском дурдоме, читаю «Белый клык» в той же самой обложке.

Ваня Рукавицын:

— А звали его не монашкой, а барин с ведром. Стал кусаться, лягаться, а который съел меня — воробей. Мыло, карточки, клюква, пенка... Резиновый гад подчиняется шарикуну... Девка, тряпочка, пенки...

— Вон, герой всего мира Москву защищал и в Ленинград ездил, в Петербург, а ты — дрысня.

— Сталин — мой папа, — изрёк «итальянец».

— А мама кто?

— Забыл. Я тогда маленький был. Помню, как из Италии плыли по морю. Женщина в чёрном платье держит меня на руках на чёрном корабле, а кругом волны, волны. Больше ничего не помню, мне всего два месяца было тогда.

— А я в Греции был, — говорит другой псих, — е... греки!

В Греции он действительно был. Там его чуть не убили. Строги с нашими специалистами ТЭЦ. Вернулся — и в дурдом. Мания преследования.

— Они слушают американцев, англичан, а русских готовы разорвать на мелкие части.

Здесь обязательна для всех трудотерапия, от которой я пытаюсь ускользнуть ужом. Только хожу

за жратвой на кухню, несколько дней исполнял должность аптекаря — носил мочу и кровь в лабораторию, сдавал посуду, привозил на тележке лекарства.

Олег мыл пол в женском отделении, за это ему дали четыре пачки “Севера”. Размечтался:

— Послали бы дежурить на ночь в женское отделение...

— Домой я, домой, — радостно говорит пожизненный. — Внучка, домой еду, — говорит он сестре.

— У тебя одежду украли?

— У меня не одежду украли, а деньги, разбойники! Скоро должен приехать суд.

— Сколько тебе лет?

— До дому доеду — узнаю всё. Немцы границу перешли, а я сижу в серёдке и шшолкаю их. Снарядом — он насквозь проходит.

Инсулинщики:

— Мама, мама! Господи, Господи, Господи! Убью! Ы – ы – ы – ы!

Валера:

— Слышали «Червонную руту»? Вот, говорят, я похож на этого артиста. Вылечусь, устроюсь работать. Получу хорошую профессию и женюсь. У меня первого февраля должна была быть свадьба. Но я забрал заявление. Жить-то негде. У нас одна комната и кухня. У её тётки – три, но в одной, большой, стоит телевизор, в другой тёткин муж, в третьей она сама с тёткой. Она хорошая. В госпитале лежал, ходила ко мне. Письма писала: будь муж-

чиной. Я всё ходил в те места, где мы бывали вдвоём — в рощу, на речку, в поле. Если, говорит, ты на мне не женишься, я ни за кого не выйду. Никто меня не возьмёт. Стану б... Пойду по рукам.

— Женись, она тебя любит. Видишь, ходила к тебе, сама тебя нашла. Только переспи до свадьбы.

— Может, она не девушка. Это мне всё равно. Вот только у неё один недостаток — маленькая она. И горбик у неё, незаметный.

— Женщины — кошки. Мягко ступают, а коготки наготове.

— Тебе нельзя жениться, иметь детей, раз псих.

— Я и не хочу. Я о болезни, правда, не думал, но на тридцать рублей пенсии с ребёнком замучаешься. Пятнадцать рублей возьмут на элементы, а на остальные пятнадцать я пропаду.

Что отличает психа от нормального? Порой псих в тридцать раз умнее.

Валера кремом после бритья пользовался с витамином «F». Я вчера намазал, сегодня кожа как атласная.

— У меня носки капроновые, как женский капрон. Хорошо стирать тёпленькой водичкой, сразу вся грязь смывается. Дорого только стоят — рубль пятьдесят.

Он экономит сигареты, зубную пасту, вышаривает мясо в супе. У меня три пачки сигарет и ещё принесут, так что живу с запасом. Лучше купить махорки, чем выпрашивать у него.

С инвалидностью трудно устроиться. Валера поступил на почтамт разносить телеграммы. Оста-

вил две на утро — не знал нужный район. До полуночи ходил искал. Через два дня его вытурили. Потом устроился электрослесарем, так его боялись подпустить к электричеству.

Драма с Августом. Разбитое зеркало.

— На лесоповал его! В лагерь! В армию!

Духота — страшное дело, батареи шуруют, а на дворе уже плюсовая температура.

«Итальянец»:

— Сталин у нас лежит. И Молотов. И Булганин.

— А Брежнев?

— Нет, такого вроде нет. Он у народа кровь пьёт.

Юра:

— Сколько у лошади ног?

— Четыре.

— А у мотоцикла колёс?

— Не знаю, забыл.

— Отгадай: две задницы и шесть ног?... Это баба на лошади сидит.

Балдеют. Человек-оркестр исполняет шейк. Под мышками большие потные круги.

Микроцефал Саня-кукулька — произошёл от родителей-сифилитиков. Сестра и брат у него такие же. В войну, рассказывают, он даже работал на Уралмаше подсобным рабочим. Страшное время, если и сумасшедшие вынуждены работать на оборону. О Сане снят учебный диафильм.

Сопли у Сани под носом блестят на солнышке.

Изобретатель:

— Пять мировых открытий у меня. Мне как-то неловко о них говорить. Для всего земного шара. Работал под напряжением, глаза стали как стеклянные.

Жить и тут можно. Друзья-товарищи не забывают. Через день бывает Вова Михайлюк, Ирина с Гришей, Надя, Болт (нелегально). Михайлюк редко когда не придёт, всё подкармливает меня — то сушёным лещом, то даже красной рыбой, Ирка — крошкой. Раз появился Селянкин (сейчас он в Усть-Качке), собирается ещё — хочет взять меня в сентябре в Киргизию или куда-то на Памир дней на десять. К пограничникам. Вряд ли я поеду.

В день рождения пришли с Робертом Аннушка и Ирина.

— Страшно тут? — спрашивают.

— Да нет, только крику много, а так ничего — никто тут не дерётся. Вот в других, буйных отделениях...

— Интересно бы посмотреть. А ты рисуй.

— Я их и так не забуду.

— Что тебе хочется из еды? Может, яблок?

— Ничего не надо. Только сигарет и спичек. Не курите, здесь нельзя курить. Спасибо, что пришли, молодцы. Когда-нибудь, где-нибудь, что-нибудь мы ещё выпьем.

— Гы-гы-гы, — заржал Роберт.

Аннушка нянечке:

— Вы за ним как за ребёнком ходите.

— Смотрите, он же такой расторможенный, — добавляет Ирина. — Он же был хорошим мальчиком!

— Его сразу тормоза не держали.

— Это тут меня испортили, — жалуется басом «мальчик».

Пришла Вера, принесла виноградный сок и три пачки сигарет (это — при стрелках — норма на день). Угостила таблеткой глюкозы:

— Приворотная!

Покрасила волосы в лимонный цвет, поглупела. Перешла работать на завод, устаёт. Сдаёт кровь и подрабатывает на овощехранилищах, чтоб одеть и накормить двух охломонов — Витю и Бэлку. У Бэлки Витин характер, с отцом она на ножах.

Штаны Ирина мне купила 46-й размер, пояс надо ушить и будут в аккурат. А присланные мамой оставила Грише — в сад ездить.

Странно мне и жалко, что люди, к которым я был привязан, не занимают меня больше. Эгоист, скотина? Возможно...

Два подарка я уже выпросил: у Володи трубку, у Ирины — карты. Эх, была у меня трубка...

На прогулке пинали банку из-под болгарского конфитюра и жадно смотрели на птиц и самолёты в чистой весенней лазури.

Прогулочный дворик в 100 шагов за семью заборами. Баня — раз в 10 дней. Прогулка — раза четыре в неделю под присмотром нянечек.

В четверг была баня. Мыли слепого Юру.

— Плохая здесь баня, — говорит Юра.

- Почему плохая?
- Так вот, не вижу.
- Юра, какое на мне платье?
- С цветочками?

Молдавский — кормят с ложечки. Суют насильно в рот дольки апельсина. Любит ливерную колбасу.

— Это тебе мама принесла. Нет, нет, — видя его недовольство, поправляется нянечка. — Это тебе медсестра дала.

Я проснулся. Золотой бритвой резало глаза. Солнце румяное встало, заспанный дымок тянется над крышами, галки кричат радостно. Может, такие отсидки и полезны — начинаешь ценить простые вещи — бесплатные на воле стороны света, деревья, воздух, солнышко без решётки.

— Вставайте, ребятки, завтракать. Одевайтесь, умывайтесь, ребятки. В школу пора, — будит нас тётя Лиза.

— Вставай, зайчик, лекарство пить. («зайчику» лет 40).

День начался вроде ничего, если не считать сильного сердцебиения после инсулина. Да глюкозу ввела сестра наполовину мимо вены. Написал письмо племяннице. Боюсь за неё, предостерегаю в письме: бойся людей, бойся задевать их, сближаться с кем попало. Насмотрелся я тут. Уйма чокнутых студентов, и какая грязь, цинизм лезут из будущих медиков и инженеров на свет Божий!

Какое пьянство и разврат среди общежитской молодёжи — уши вянут. Интересно, что за французские книжки тебе, Олечка, прислали? Помни, что твой скромный дядя мог бы стать полиглотом, если бы не глотал что-то другое, а не языки. Приеду — полюбуюсь новой экспозицией в своих хоромашках — соскучился по шедеврам.

Аннушка принесла цирковые снимки. По канату ходит Курбанов... Все мы ходим по канату разумного, рискуя свалиться в пропасть сумасшествия.

В завтрак съел даже две принесённых вафли, чего прежде никогда не делал. Яблоки, конфеты, печенье взрослым есть не подобает, ведь столько детей не видят этого.

Порнографический фильм. Дети в ожидании процедур говорили сексуальные гадости. Одна девочка постарше всё их одёргивала, а другая не переставала хихикать и грызла кулачки.

— Там у них и не таких доморощенных шлюх навалом.

— Ну, эта старая мама — цуца, а молоденькая-то зачем?

— Родители разрыв сердца бы получили, инфаркт.

— Сразу видно — Россия. По коврику на стене, а ром-то — кубинский.

— Шлёпнулись в болото вместе с креслом!

— Такие фильмы только дуракам показывать.

— А мы и есть дураки.

Бегство Логачёва. Простыня, разбитый нос. Два амбала-гренадера — офицеры Советской Армии?

— За что?! — кричал Логачёв.

— Я больше психотикам доверяю, — проворчала баба Галя. — Разгоню алкоголиков.

У картины псих психу:

— Смотри, какая тропа через ржу.

Вышел врач из кабинета.

— Здорово, Прасковья! Здравствуй, Параша! Тошно тебе среди нас, Прасковья? — так заботливо спросил псих, что я подумал: не псих он вовсе, горбатого лепит.

— Скороходы по мне ходят, блямбы у меня в печени! — притащили на носилках майора — алкогольный психоз.

Стригли ему лобок, и его жена раздражённо спросила:

— Неужели это обязательно?

— Я знаю китайский язык, албанский, чешский и польский — хвалилась больная. Ей прогревали какой-то чирей на ягодице.

— Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, мужики! (нам). Здравствуйте, Владимир Ильич (портрету).

Танцы в дурдоме. Я спрятался за розой, сел на подоконник, курил, выпуская дым в разбитое окошко. Девушка, похожая на Марину. Саня танцевал с Валея. Рубаха у него, как всегда, торчала. Она

сама заправила ему подол за резинку шаровар с милой укоризною, на снисходительность больше похожую — очень домашний порыв, свойственный лишь родным людям. Как, стало быть, истосковалась баба без мужика, без забот о нём, пропашем, без ласки. И они продолжали танцевать, не глядя на чьё-то хихиканье.

Портреты бородатых психиатров. Стенгазета со стихами: «Процедуры принимаем, хорошо питаемся и поправиться скорее почти все стараемся».

Алкаш несёт кружки для сеанса, надев их за ручки на все пальцы, и прищёлкивает ими, как кастаньетами.

... Проснулась сырая глина гряд.

Пасмурно. Солнце всё же находило лазейку среди свинцовых, грузных туч. Раскосые сучки на берёзах весело чернеют. Фрайер принёс девушке букет мелких тюльпанчиков, сильно похожий на пучок редиски. Разбитое стекло застеклили, и тётка не может передать баночку компота.

Вера прислала с больным несколько веточек вербы и карандашный пластмассовый стаканчик для них. Хотел подарить ей чужие подснежники, но она не подошла к окошку.

От укулов руки мои покрылись крапинками, будто стадо комаров село.

— Кто вербу в кружку поставил? Надо в баночку. И так кружек не хватает. Ну, нате витаминки. (Она утешает и потчует ими тех, кому нет передач). — И кто это вам так «забинтывает» руку?

Тополя зазеленели враз, будто их опустили в зелёную краску.

Уж сменили лыжи на колёса. Зелёными листочками расцвели клёны, прошёл первый слепой дождик. Сорвал цветов для Веры, синие, как незабудки, — синий мёд, и веточку яблони. Придёшь ли? Скорей бы. Но Вера не пришла. Смешаны запахи цветенья и увяданья в один запах. Всю ночь цветочный аромат боролся с запахом нестираных носок, табака и спрятанной ржавой селёдки. И почти побеждал.

Олега Дмитриевича спросили, как выбраться отсюда? Он написал направление и сложил его в виде самолётки.

Направление.

Во все города, где имеются ткацкие фабрики, направляется Иванов Иван Иванович вместе со мной для проверки Международного Дня Ткачества. 17 марта.

Чек. Выдан Иванову вместе со мной на поездку. Подпись.

Сестра видит, что я горю, и угощает меня витаминкой.

Сон был несуразный, страшный. Будто дверью кто-то раздавил нашу черепаху. Она лопнула с хрустом, как грецкий орех. Обе половинки с обрывками серого липкого тела долго ползали по полу, пока не перевернулись. Которая из этих черепах, думал я, это? Яшка или Фишка? Почему-то Яшку мне было жаль больше. Вечером позвонил по междугород-

ной маме. Бабка прихворнула, что-то там съела, то ли пива домашнего выпила, и ей стало плохо.

— Жив Яшка? — спросил я по телефону. Олечка ответила:

— Жив, сегодня даже водички попил.

Курим в туалете, беседуем.

— Учитель истории, мой коллега, жутковато жил. Волки воют, поехал за сеном, они целый пласт из кобылы вырвали. Пьянствовал. Как напьётся, так на сто лет ошибается, пишет 1860 год. Спился. К нему пришли, а его нет, где-то здесь надо искать. Под лавкой лежит. Вот он.

— Брагу сварили, всё как положено, не волнуйся, с махоркой. Оказывается, я синий лежал. Она меня на брюхо перевернула. Блевотина, как краска, на голове присохла — смыть не мог. Дали мне кобылу — она, говорят, тебя сама привезёт. Рано по росе выехал. Мотала, мотала...

— Куда лететь-то?

— На Марс не надо. Там Беломорканал роют, надо землю рыть. Лучше на Уран.

Эльдар долго возится под краном.

— Ты что чистишь, зубы или сапоги? Ребята, покажите ему, как надо умыться.

Я сам умываюсь одной рукой, другая в лубке.

Новенькая сестра стесняется зайти в уборную. Просит вылить в раковину грязную воду из тазика. Заставляют это сделать Лукина. Подаёт вместо этого ведро с хлоркой для мытья.

— Вылей, — говорят Лукину. Он выливает. Все хохочут. Лукин злится:

— Немцы, немцы проклятые!

Лысая голова. Бывают в лесу такие кочки — по бокам седая трава, а в середине песочек.

Допытывались, когда кто именинник. Даже спящих будили, чтоб узнать. Потом кто-то пел в коридоре: «К сожаленью, день рожденья...». Перед обедом сломалась электробритва. Приводили к кому-то двух мальчиков, один — Игорь, беленький, всё сосал пальчики, угостил его печеньем — уронил. Около его кресла, в углу, стояли носилки. Приподнял — тяжело.

Весною психи работают с нянечкой тётей Клавой в саду. Она приносит прямо на улицу таз с кусочками хлеба, все рвут ранний вешний лук, хрустят зелёным пером, улыбаются.

На клумбе проклюнулись настырные многолетки, и были прекрасны отбитые тёмно-красные грани кирпича, напитанные снежною водой и оклеенные зелёным плюшевым мхом. И чёрная смоль грачей, и лазурь неба, ни разу ещё не нахмурившаяся с тех пор, как народилась. Бабы в треуголках из газеты на прогулках. Будто навкалывался на смене и влез под горячий душ — так приятна вешняя теплота.

Старые столбы в чёрных ссадинах от монтерских когтей.

Посетители.

Приходят к больным матери и жёны. Жёны, погляжу, лучше одеты, моложе, красивей; матери — печальней, добрее. Сразу видно, кто — кто.

Старушка-посетительница корит меня:

— Лежите здесь. Ведь надо кому-то робить за вас.

— Скажи председателю, пусть за нами приезжает.

— Исть надо хорошо.

— Кто у вас тут?

— Дочка.

— Что-то с головой. Домой-то, наверное, шибко охота? Сколь ты лежишь? От вина лечишься? От того и другого? Издалека?

Оставила под деревом две кирзовые сумки с гостинцами, сама где-то чуть не час ходила, лимонад искала.

— Хоть который, говорят, палец, да все свои. Надо поддярживать. Часто ездить больно. В библиотеке работала. Шибко много читала... А теперь может и робить не придётся. Первую неделю получше стало. На вольном-то воздухе хорошо. В резиновых сапогах, в синем бумажном платке.

— Малину после антабуса нельзя, и квас, и селёдку...

— Да. Кефир, зефир и тёплый сортир.

— Что сегодня на завтрак?

— И-го-го (овсянка).

— Я сюда третий раз прихожу и не успела постряпать.

— Сегодня у нас не было начальства, так все ходили по магазинам. Я хотела купить себе туфли — трудно. Купила мужу брюки, боюсь, не понравятся. И чуть не купила сиреневую помаду для

век. Стала торговаться, она не уступила, и я не взяла.

— Я тебя убью, и мне ничего не будет. Лишний год подержат и выпустят, — чмокнул в щёку: — Прости, ты же моя мамка! Ивану Ивановичу Вертопрахову привет от брата передавайте.

Больная девочка:

— Вон ещё растут. Я их можно сорву? Я их посажу, папка, тебе на голову, и они будут расти. Я ещё, домой пойду, собираю.

— Не тронь цветочки, пусть они вырастут.

— Что ли, до потолка вырастут? Я замуж не пойду, когда вырасту.

— Это что-то новенькое в твоём репертуаре, — замечает отец.

Детей жалко. В загородке играют в классы — страшно смотреть... у кого свои дети. Какое-нибудь потрясение и... Все «ходят по канату», на грани безумия. Впрочем, для некоторых — всё хорошо.

Профессор Вальдман с картинками на мифопсихиатрические темы. Один подмосковный пейзаж с оранжевыми осинками и бегущим вдали поездом. Другой — просёлок меж цветущей гречи, ну и картины «Золотая осень» и «Грачи прилетели». Эти две картины, вернее авторы их, могли бы, будь я на сто лет моложе, лежать вместе со мной. Саврасов любил выпить, на Левитана находило — то стреляться, то вешаться пробо-вал.

Три бюста: Белинский, Ганушкин, Коряков. Один старикашка — тяжелейший, (маленький, а говнистый), два другие — пустоголовые (полые бюсты). Носил и подставки под них. Я спросил у профессора:

— Вы художник?

— Психиатр. Как вас зовут?

— Алексей.

— Большое вам спасибо, — и пожал руку.

— Не умер ещё, — зло сказала нянечка. — Опять своё барахло тащит.

— У нас там ремонт, — виновато объяснил профессор.

Сумочка с вышитыми малиной и вишенками, подушечка с маками, салфетка с белочками на еловой ветке, пинетки для новорождённых, плетёная из цветной проволоки вазочка, игрушечные свитера, платочки, шапочки; маленькая клумба — на одном постаменте Ленин, напротив — пустой, от снятого Сталина. Со всеми этими подарками больных бедный профессор не расставался.

— Откуда это? — с плохо скрываемым презрением спросила нянечка.

— Собственные, — гордо ответил Вальдман.

Мужик газетой чистит бульдога палевого цвета. Бульдога звать Гриша. Около — смазливая девица в плащике.

Два психа долго друг друга дразнят:

— Дурак!

— Ты сам дурак!..

— Гармонист, — говорит толстобедренькая, — куда нас потащат? Мне и рот-то открывать неохота. Вся как разбитое корыто.

Засмотревшись в себя, сидит на завалинке старуха.

Небо в красных трещинах. Несём вёдра с обедом. У нас по одному, у одного — два.

— Ничего он сильный. Ему ещё в зубы надо ведро дать и на член повесить с ртутью.

— Козырь крести, а у меня в руках красно, как на земляничной поляне.

— Приземлился на брюхо. Страшный наждак. Самолёт загорелся. Техник бросился спасать лётчика.

— Что будем делать? — спросил лётчик, появляясь из-за хвоста машины. И тут пошли рваться снаряды. Бросились в канаву...

Светлая, как душа дитяти, тучка плыла одна на всё небо.

— Татары столкнулись на велосипедах. Стали драться на ножах. Один — насмерть, другой — тяжело ранен. Два клуба, радио орёт, свет на улице.

— Будьте осторожны по отношению к лошади и корове. Они заражают саркомой.

— В детстве я считал, что Манон Леско — женщина.

— У нас всегда перед праздником хорошие художники лежат.

Тут прибежала Римма Петровна и позвала к телефону. Звонила Вера. Я её отругал, что заставила сестру так далеко бежать.

— А меня в партию приняли, — радостно, — не сердись, я очень соскучилась.

— Ну, приходи. Я теперь гуляю свободно.

— Завтра в школе родительский день. Потом у нас субботник. Воскресенье? Надо Бэлку вести в бассейн.

— Ну, приходи в понедельник.

Много ошибок я сделал
И мало хороших деяний.
Кто мне напишет, хотя б
Не письмо, а открытку.
В сокрушении ночи не сплю...

Пришёл Костя. Костиной собаке отрезали язык.

— Оставь её у нас, возьмёшь маленького щенка, чего будешь мучиться?

Язык держался «на ниточке» — он сам отстриг его ножницами. Зверьё! Если б она лаяла или выла, а то смирная была. Я вспомнил, как лет десять назад придумывали ей имя, как ездила она с нами в коляске мотоцикла — космина смирная, Забава. Сумасшедшая жестокость, трижды опасная на воле.

Серёжины галлюцинации: бабы с бородами, огромные шприцы...

Сегодня выдали удивительно вкусный обед. Уха из сайры, полсардельки с пюре и салат из капусты с луком. Да ещё кисель. Потом вынесли из столо-

вой все столы. Ужина не будет? Или будем лопать на кроватях? Столы нужны для властимущих. Подвыпили, запели. Всё наше отделение столпилось у запертых дверей. Тщетно просились в буфет за сигаретами — не пустили, дали махорки. Только Юра, слепой от «Солнцедара», оставался в палате. Ему пункцию делали накануне. Вот, злорадствовали алкоголики, сами пьют, а нам запрещают...

Вчера гадал себе. Наполеоновское гадание, на барабане так Наполеон раскладывал карты перед сражением. Выпали два короля, известие о смерти, слёзы, почёт.

На крыльце сидит стриженная старушка с хромкой, около неё бурая худая кошка, единственная почитательница грустных старушкиных песен.

Вырывали сорняки, жгли старые картины и портреты, резали старые платья.

— Психотики, кто взял «Перстень с печаткой»?

— Я есть хочу-у-у...

— Я спать хочу...

— Я сра.....зу усну.

— Бессовестный. Надо тебя в первое отделение.

— А что вы пугаете? Там нисколько не хуже.

— Он отрицает то, что вы, Гриша, утверждаете.

Горят Герасимовские пионы и портрет Ворошилова...

Ходил за хлебом — 16 буханок в полосатом мешке. Объявление над раздаточным окошком:

«Сёстры-хозяйки, получайте хлорную известь». В столовой два десятка огромных, чуть ли не с человеческий рост, котлов из нержавеющей стали с тяжёлыми крышками.

Вызвали к врачу. Зашёл и оказался один в кабинете. Дилемма: понюхать сирень, что стояла в вазе, или перелистать истории болезней? Успел и то и другое. Зашла врачиха Луиза — пышное природу увяданье, ваза с осенними листьями. Успел отпрыгнуть на весы, будто интересуюсь, насколько поправился.

Герою Ивану Фёдоровичу кто-то, издеваясь, принёс форменную фуражку от пожарника, живущего недалеко от психбольницы. И два пирожных. Сказали: майор прислал! Фуражку он весь день не снимал, и всё грозил кому-то измазанным кремом пальцем. Погоны прапорщика. Акварельный портрет Сивкова: «Боевому товарищу Лукину И.Ф. — Майор Сивков».

— Ну, ладно уж, покажу, — разворачивает свёрнутую трубочку Лукин. — Вот кто меня учил.

— Тебя теперь никто не обидит, — говорят ему нянечки. — Ты в форме и при исполнении служебных обязанностей, а мы отдыхаем тут.

Майорский портрет Лукин завернул в полотенце. Тарас выдернул у него портрет.

— На гауптвахту его отправь! — смеясь, советуют ему.

— Воевал не за кого-нибудь, а за Россию. Они ненавидят её, потому — немцы. Правильно, немцы? Подорву всех! Я рядовой заместитель генерала!

С фуражкой и больничными сапогами так в обнимку и уснул. Да смеяться-то над стариком всё равно что слепого Юру приглашать смотреть кино. Жестокость доставляет удовольствие даже неплохим людям.

«Выдать Лукину И.Ф. деньги! Воров арестовать!» — это врачу надоело с ним возиться.

Я перебрался в пятую палату.

— Отпустили Лукина Ивана Фёдоровича домой — придет Таня на машине. Махмуд ушёл домой, — вздохнула нянечка.

Я перешёл на его койку. Постирушка — носки, платки. Помылся в бане, застелил чистым постель.

Праздничное горячее солнышко. Гуляем под надзором нянечек. Жаль женщин: им нельзя снять халаты и платья под ними и загорать вместе с нами, а, верно, хочется.

— Пойдёмте, итак вы гуляете дольше обычного.

— На турбазе играл на скрипке. Играл-играл — чуть не умер. Цепочкой бегали за кислородом. Больше двух часов ждала его тётка.

— К тебе жена пришла. Смотрю: Вера с Бэлкой. Веру принимали за мою жену. Рижские духи. Пояс из колечек. Курсанты в дверях остолбенели. Два ландыша из туго затянутого букетика. Какой-то мужик накопал ей чёрной земли для гладиолусов. Кто-то пообещал сделать ящики для цветов на балкон.

— Пусть он себе гроб за одним сделает, — ревниво и грозно сказал я.

Слёзы, слёзы. Бэлкиного и моего платка не хватило. Ей запретили бывать у меня, она сама нашла, прорвалась. Мы даже поцеловаться толком не могли, кругом были больные. По тому доброму отношению, с которым к нам отнеслась могущая пол нянечка — извинялась, когда нам надо было пересесть, я понял, как благоговейно относятся к любви, даже чужой, люди.

— Ты взял с собой самую нелюбимую мою фотографию.

— Я очень торопился. Если ты будешь плакать, тебя сюда больше не пустят, скажут, что ты устраиваешь и меня.

— Правильно. Я больше не буду, — как провинившийся ребёнок говорила она и плакала, плакала навзрыд.

— Вот тебе свежие газеты, я схватила какие попало.

О, неповторимый аромат свежих газет — он прекрасен, как запах от разрезанного арбуза, моря, свежего снега. Три пачки «Варны».

Вера ходила фотографироваться на партбилет, вертелась на стуле, фотограф замучился.

И здесь, и там, на воле, убиваемое и насилуемое время, но тут — это вынужденная и прощительная подлость, там — добровольная.

Гуськов:

— Кстати, с кем это вы всё время под сиренью воркуете?

— Так, знакомая.

— Знакомая... — как-то разочарованно сказал он.

На трудотерапии ребята откапывали яму овощную. Откопали картошку и редьку. Все набросились на неё. Ели с наслаждением. Тётя Клава ходила по палатам с глубоким блюдом и раздавала желающим горькие колёсики.

— А что с ними делать? — спрашивает Молдавский.

— Принеси, покажу (онанист).

Валера питался в совнархозовской столовой, кантовался по санаториям.

— Придут девки, попрошу луку.

— Да хорошо бы ещё жареной картошки, — размечтался Олег, — да селёдки с уксусом.

— На правой руке сусед у меня, а на левой — я, возле реки у старицы. Три сына у меня. Одному 15 лет, убило током в школе. С Верещагинской стороны второй дом Черепанова, а дальше Савенцы.

Меня заставили собирать в наволочку липовый цвет...

Есть счастливая часть психов, у которых дети родились до их заболевания, с чистыми генами и составляют гордость и радость родителей. У одного девочка на олимпиаду по лёгкой атлетике поехала, у другого мальчик значки собирает, у третьего тройку по пению получила, а так — хорошистка.

А у этой матери глаза сизые, уставшие от ожидания.

— Вот будет тепло, приедут к тебе дочери. У тебя две дочери?

— Две. Младшая-то плохо ещё ездит.

— Ничего, с матерью-то твоей приедут. Как их зовут?

— Старшую — Галя. И Светлана. Нет, Таня и Светлана.

— Сколько им?

— Тане два года, а Гале пять. Нет, даже шесть. Не знаю, забыла. Наверно, семь. А Светлане пять.

— А у тебя Калинин фамилия?

— Ага.

— А у нас Калинин помер, что ли?

— Всесоюзный староста? Помер. В шесть часов вставал...

— Значит, у тебя Некрасов фамилия?

— Калинин!!!

— Калинин? Чеевич?

— Утром скажу, а то опять забудешь.

Калинина Юра упорно называл Некрасовым, тот уже не поправляет, отзывается.

— Выписываться буду, скажу.

— Вроде у нас сегодня среда или вторник? Как? Среда у нас сегодня?

— Ох-ох! Отстань! Среда, сказано тебе.

— Ещё курить пойдём?

— Сейчас кино пойдём смотреть.

— А посять, что ли, не пойдёшь?

Как на вокзале! Никакого покоя. Ту-ту-ту без конца...

Носилки, стальные трубки с резиновыми ручками.

— Кто-то умер?

— В женском.

— Старуха?

— Наверное.

Трое алкашей переоделись, четвёртого долго не могли подобрать.

— Саша, это твоя, наверное, подруга, с которой ты танцевал. Я её вчера видел, совсем худая, и щека что-то подвязана. Галя, да?

— Валя.

— Нет, эта Галя вроде. Стали брать кровь из пальца, а она глаза закатила. Четыре подушки с кислородом скормили — бесполезно. Лет сорок.

— Плохи дела, сажа бела, в сердце игла, лада ушла...

Генеральная уборка — трясём матрасы, одеяла, протираем картины и лампочки.

Валера, выхлопывая матрас:

— Сегодня вкусный завтрак был.

— Всех неуловимых мстителей вытряс!

— Пыль на людей летит!

— Тут были потайные агенты, отобрали у ребят пачки денег и положили в банк.

— Я герой всего Советского мира. Охранял, зашишшая Москву, и дали премию.

— Зачем жениться, когда лихачи есть?

— Уеду в Вагулку на должность старшего экономиста на лесоучастке, — грезит Гриша.

— Только ты эков не обижай, а то убьют.

— Был с бабами с 12 до 16, 4 на 360 — это значит 1200 раз. У меня будет два сына и две дочки, — циничный Олег.

— И овечка.

— Скреблись, е... и родили такого суку, как ты!

Олег в 19 лет зарубил отчима и два дня сидел на печке.

Снился мне сон, будто я играю на гитаре где-то в камере хранения. Гриф у гитары приделан задом наперёд, но звучит она божественно. Лопнула одна струна. Вошёл хозяин гитары, стал мне выговаривать.

— Он по 16 часов спит.

— Пусть спит, это хорошо. От сна ещё никто не умирал.

Два пирожных растаяли, пока Валера стоял со своей горбатенькой любимой. Она сказала, что есть не хочет.

— Больше часа побыли вместе, надо было съесть с ней по пирожному.

— Я ей предлагал.

— Поздно предложил.

Зубчики и лепестки все растаяли, отнёс и положил его на холодильник:

— Почему у вас так плохо холодильник работает? — ворчал он за ужином, держа бесформенное пирожное. Чешет голову:

— У всех вши как вши, а у меня — как танки.

«Итальянец»:

— У вас телевизор работает?

— Работает.

— Москву ловите?

— Москву.

— А другие планеты?

— Редко, — отмахнулся я.

— А у нас, видно, телефон есть в отделении.

Валера так долго раздавал карты, что я успел прочитать две страницы.

— Вот почему тебя прогнали с почты.

— Большой у тебя дом?

— Большой, больше этой уборной.

Врач в окружении студентов три часа беседовал с тремя психами. Самодовольный доцент спрашивает у психа:

— Какое сегодня число?

— 6-е мая.

— А как моя фамилия?

— ?!?!

— Ну, когда-нибудь запомните. Шмидт моя фамилия.

— А это ваши дети? (на студентов). У меня тоже 60 детей. Во всех странах. И 60 баб.

— Сколько у вас ног?

— Две.

— А рук?

— Две.

— А пальцев на руке?

Он задумался.

— Ну, посчитайте. Сколько будет 5 плюс 5 ?

— Десять, — отвечает.

— А какой у нас год?

??? 1973? 1980?

В палате у нас сейчас спокойно, осталось четыре человека, а было двенадцать. Всех выписывают, чтобы не возиться в летнюю пору. Не знаю, как я буду соображать, выйдя на волю. Здесь можно оставить последние мозги — сомневаюсь в пользе моего лечения. Здесь, особенно в первое время, лучше понимаешь, что такое дом. Ничего, где наша не пропадала. За это время я всё-таки передохнул. Буду баловаться сухим винцом, втихаря, дома — так теперь придётся поступать пять лет (этот срок хронические алкоголики находятся под наблюдением). Часто у меня бывает такое ощущение, что вроде с 73-го года и не выходил на волю.

Грубый человек Гуськов. У душевнобольных душа и так, как у зайца, а он орёт. Гришу при множестве студенток-снегурочек спрашивает:

— Это правда, что вы занимаетесь онанизмом?

— Что вы, нет...

— А как вы вообще относитесь к онанистам?

— Послал бы ты их, Гриша, подальше.

— Это что. Раз меня Гуськов заставил всех писателей по имени и отчеству назвать, вот уж я попотел.

— Студентка перепутала плеву и плевру, так преподавательница съязвила: что ты этим местом дышишь? — до слёз девку довела.

— Человек — всегда человек. Не конь, не собака. Хоть больной, хоть здоровый, хоть сумас-

шедший. Человек для науки страдает. Для ихних диссертаций.

— Все мы кролики.

Эх, старая клиника из лёгких, сухих, огнеопасных брёвен...

Эх, клиника, старенькая деревянная шкатулка человеческих бед, пресечённых страстей, сломанных иллюзий — полная под самую крышечку, редко отпираемый для досужего взгляда ларец стонов и хохота.

Смутно на сердце: наихудшее — всё впереди. Но... «Претерпевший же до конца спасётся».

СПРАВЕДЛИВАЯ ЖИЗНЬ

К 50-летию рудника БКРУ-1

В десяти минутах ходьбы от рудоуправления, за ТЭЦ и маленькой, чудом уцелевшей церквушкой, в зелёном домике в два окошка живёт кавалер ордена Ленина, почётный горняк Аркадий Николаевич Протасов.

Когда-то у церкви росли огромные деревья, шумевшие, как закипающие самовары, — время не пощадило их. Высох один тополь и под протасовскими окнами...

Почти все деревья в малолетстве посадили дети, каждый своё. И вот Валин тополь начал сохнуть, и Вали... не стало...

— Не надо было сажать деревьев, не надо, — казнит себя Александра Ивановна — жена Аркадия Николаевича, и случайное совпадение кажется ей всемогущим знамением. Валя, самая старшая, окончила медучилище, затем специальные курсы и долгие годы работала рентгенологом в комбинатской поликлинике.

Остальные деревья вокруг домика живы, рады дождю и солнцу, и все дети, слава Богу, здоровы: Луиза, Калерия, Алевтина, Татьяна и Юрий. Самый младший, Юрий после Кизеловского горного

техникума работает на руднике начальником горно-капитального участка, продолжает отцовское дело. И учился-то Юрий в том самом Кизеле, где отец его в юности таскал под землёй гружённые углем «саночки».

С рудником же связана почти вся трудовая биография у Калерии Аркадьевны — много лет она была фельдшером на подземном медпункте. Это огромная ответственность — оказать первую помощь пострадавшему от несчастного случая.

Калийные шахты, конечно, далеко не так опасны, как, например, угольные, но шахта есть шахта. И собственная неосторожность человека, и вечная спешка «давай-давай!», и коварство непокорной природы — всё это заставляет фельдшера быть всегда начеку. Не только поцарапанные мизинцы перевязывать случалось Калерии Аркадьевне, Кларе, как её звали на руднике с детства.

Луиза Аркадьевна Протасова вот уже 26 лет работает на кафедре почвоведения Пермского сельскохозяйственного института имени Прянишникова.

Высококвалифицированный, ищущий педагог, человек высокой внутренней дисциплины, образец добросовестного выполнения всех общественных поручений — таково всеобщее мнение о Луизе Аркадьевне в институте.

Алевтина Аркадьевна — старший инженер-химик в Краснодаре. Далеконько от дома... Многие газеты обошла, должно быть, тассовская заметка о младшей дочери Татьяне, по мужу — Питерской:

«Когда в Московской области сооружали первый в стране комплекс «Кузнецовский» по выращиванию и откорму 108 тысяч голов свиней в год, были введены в строй очистные сооружения с двухступенчатой биологической очисткой... На снимке: заведующая лабораторией очистных сооружений Татьяна Питерская».

— Справедливая была жизнь, — говорит Александра Ивановна. — Нигде, никогда не сказали, что твои ребята в огород слазали. В школу меня ни разу не вызывали...

Десять внуков и внучек и четверо правнуков — такова молодая поросль Протасовых...

Всё осталось позади: и родная деревня Кочербал в Марийской АССР, и речка Восташка, и могилка матери, и брат с сестрёнкой, и отец с мачехой. И вот перед старичком управляющим стоит могучий семнадцатилетний парень в холщовых штанах и холщовой рубахе.

— Сколько тебе лет?

— Вот удостоверение.

— В шахту — нет, тебе лет мало. Вот 18 будет...

Приняли на конный двор — снег сгребать, сено складывать. Так началась городская жизнь Аркадия Протасова. Он её очень хорошо помнит.

... Вот вышли с утра на работу, снег отгребаем.

— Надо перекурить, — говорят ребята.

— Я не курю.

Засмеялись, ушли в теплушку, а я все снег кидаю: о работе тосковал.

— Иди, иди, отдохни!

— Я только рукой махну.

Сено уложили. Несколько дней так работали. Приходит начальник:

— Ты запрягать умеешь?

— Запрягать я с чурбака могу.

— Как это?

— Да с малолетства.

— С кузницы возить металл на Александровский завод будешь. (Он был тогда, как балаган, дощатый). Завтра выходи на конный двор. Мы тебе лошадь дадим хорошую, смирную.

— Пришёл я... Майка — лошадь звали...

— Ну, давай, езжай.

— Да я не знаю, куда.

Поехали. А привычка — лошадь жалеть. Если с грузом, у нас не садятся.

— Да ты чо, — ребята говорят, — 12 километров туда — 12 обратно... Ладно, где с горки — присяду. Лёгкий был тогда. Чуть что — соскочу.

Ну, так проработал до 24 января, до 18 лет. На другой день иду на шахту. Двоюродные братья, дядя в Кизеле работали на шахте сезонно — только зимой, а на летнюю работу домой приезжали, рассказывали про шахту-то.

— В гору каталем, саночником пойдёшь.

В санки 13 пудов влезало.

— Вот за саночника я и вышла, — ласково говорит супруга, Александра Ивановна.

— Пустые в гору тяжелее тащить. Трое санок привезёшь — вагон полный. Лава метров сто. По бремсбергу проложена дорожка, деревянный вороток. На нём Мишка-китаец сидит.

— Мишка, спускай!

— Чичас.

— Толкаешь вагончик. Грузёным выбивает по-рожный.

Жил Протасов сначала в казармах, переделанных под квартиры, затем приютил у себя знакомый Харлампов — сосед Александры Ивановны. Она рассказывает:

— Воспитывали меня дяди и тети, кто заболет, у тех и жила. Я корову к пастуху гоняла мимо Харламповых. Видимо, я побойчей была, наговористая. Зашла раз, поздоровалась, сидит на топчане, молчит. Ты что молчишь, не русский, что ли? В другой раз гляжу: приделся, тройку надел, здоровый такой, ладный, ходит — на меня поглядывает... Как-то спал после смены, Харлампов будит: «Аркадий, вставай, невеста корову пригнала». Пришли сватать. Батрачила на всех, никакого приданого. Жили на частной квартире. Валентина родилась, и завернуть не во что...

Долго бы пришлось Аркадию таскать саночки, не подружись он с машинистом врубовой Андреем Семухиным, который устроил его своим помощником. «Радиалакс» семь пудов, небольшая врубовка 5,5 метра делает вруб по простиранию и 2,5 метра вглубь.

В 29-м году в Кизеле пустили Первую Капитальную, началась проходка. Протасов стал проситься туда.

— Ты же не проходчик! — удивилось начальство.

— Научусь, я же угольщик. Давай перевод.

На Первой Капитальной прошли тогда 355 метров. А сейчас она 500 метров глубиной. Дальше нельзя — нефть заливает рельсы.

— С большими трудностями проходили, — вспоминает Аркадий Николаевич свою первую проходку. — Спецовка была очень хорошая: яловые сапоги, промоют тебе, смажут товарным дёгтем с салом. Стой в воде сутки, если через край не залёшь. Но сверху дождь лил, сухого места не было... Стенки закладывали бетоном с временным креплением металлическими кольцами. В начале 32-го года закончили, начали расформировывать на Вторую Капитальную. Девять километров от посёлка Фрунзе, где с Александрой Ивановной жили. Приходим туда по тропинке лесом. Стоят четыре дома для проходчиков да два копра над стволами.

Александра Ивановна и говорит:

— Нет, я сюда на пни смотреть не поеду.

Что делать? Пошёл Протасов к Гасману, начальнику шахты, выложил всё как есть. Гасман был мужик с хитрецей: дал Протасову отпуск, дескать, месяц погуляет, авось образумится. Но деньги выплатили не полностью, только аванс. Не удерёт — получит остальное. Спасибо, знакомый кассир принёс остаток домой. И в августе 1932 года двинул Аркадий Николаевич в Березники. Слышал до этого, что строится там калийный рудник.

Удивительный, легендарный 1932 год! 15-я годовщина Великого Октября. Весна социалистической индустрии. Широким фронтом ведётся строительство новых металлургических гигантов — Маг-

нитогорского, Криворожского, Тульского, Азовстали и Запорожстали. Пущены автозаводы в Москве и Горьком. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы вместе со строящимся ЧТЗ выводят СССР на первое место в мире по производству тракторов.

Освоено производство мощных турбин в 24 тысячи киловатт и сверхмощных — 50 тысяч киловатт.

Вслед за Волховстроем построен ряд крупнейших электростанций: Штеровка, Зуевская, Нижгрэс, Артёмгрэс, Магнитогорская ТЭЦ, Кузнецкая, Березниковская, наконец, мировой гигант Днепрогрэс.

«Наша тяжелая промышленность твёрдо поставлена на ноги», — подводит итоги первой пятилетки XVII партконференция.

Успехи поистине колоссальные, но большевики помнят завет Ленина: «Лучший способ отпраздновать годовщину великой революции — это сосредоточить внимание на нерешённых задачах её».

Каковы же задачи калийщиков? Самая главная, центральная задача 1932 года — пуск Соликамского рудника. А что предстоит сделать в Березниках? На первой Чуртанской шахте должны закончить замораживание и пройти 200 погонных метров, на второй шахте — 50 погонных метров, приступить к постройке солемельницы, шахтного комбината, постоянных подсобных предприятий, пяти кирпичных домов, детсада, яслей.

Ожидается поступление на стройплощадку подъёмных электрических лебёдок, бурозаправоч-

ного станка, проходческого оборудования и автотранспорта.

Немало уже сделано к началу 1932 года на Березниковском руднике. Вступили в эксплуатацию временные мастерские, механическая, кузнечная, котельная, столярная, здание замораживающих машин, проходческий копёр, лебёдочные, штейгерская, трубопроводы.

Для подготовки к замораживанию ствола будущей шахты пройдено 2675 погонных метров замораживающих скважин, шахта углублена на 11 метров, закончены подъездной ширококолейный путь от рудника до станции Усольская, линия электропередач от Березниковской ТЭЦ, временный водопровод. Построены восемь каркасных домов, 12 деревянных общежитий, столовая, баня, прачечная, магазин, овощехранилище, начаты кирпичные дома...

Сделано много, предстоит сделать в тысячу раз больше, так что в добрый час ты появился здесь, на Березниковском руднике, проходчик Аркадий Николаевич Протасов.

— Вы проходчик квалифицированный, нам таких и надо, — сказали ему на руднике, — дадим вам квартиру, устраивайтесь, оформляйтесь и перевозите семью. А в Кизел мы напишем отношение...

— 25 августа 1932 года начал работать, — вспоминает Аркадий Николаевич. — Пришёл учеником в проходку. Глубоковский был штейгером. У него начинал первый ствол проходить, у него и закончил. Человек он прекрасный, но требовательный очень, хоть из кожи вылезь, но сделай...

Через месяц ученику Протасову дали «вторую руку», ещё через два месяца «первую руку» — 12-й разряд. Заработок был хороший: 300—400 рублей в месяц. Корова стоила полтора червонца.

С 1 октября начали углубку на первой шахте. К этому времени шахта была уже пройдена на 30 метров, стенки были забетонированы.

Пневматический отбойный молоток «Бетонбрехер» — 32 килограмма, точь-в-точь двухпудовая гиря, поддержи-ка его смену, потрясись вместе с ним! Протасов не сдался, не стал искать работёнки полегче.

Брали на отбойные молотки до соли самой. А когда зашли в соль, перешли на буровзрывные работы. Палили аммонитом, динамит при пониженной температуре самовзрывался. Тяжелее всего давалось проходчикам тюбингование, установка чугунного водонепроницаемого крепления. При доставке на платформах и укладке в штабеля перед стволом в осеннее и зимнее время в сегментах скапливались дождевая вода и снег, образовывалась толстая ледяная корка, которую с большим трудом удаляли перед самым спуском в шахту. И всё же тюбинги поступали туда сильно обледенелые. Ледяная корка мешала проходчикам заблаговременно обнаружить возможные дефекты в сегментах, с ними было неловко работать.

Вес каждого сегмента в среднем одна тонна. Вот и попробуй рассортировать несколько сот сегментов по номерам колец на тесной площадке вокруг ствола таким образом, чтобы к штабелям было удобно подходить при спуске.

Техника тубингования требует повышенной внимательности. Малейший перекося одного кольца ведёт к нежелательным результатам: неизбежно перекашивается вся колонна. Поэтому основное внимание должно быть уделено горизонтальности колец, их тщательной центровке.

После окончания тубингования обычно производится проверка всей колонны, поджатие болтов, дополнительная чеканка. Тубинговая колонна для первой шахты была изготовлена бельгийской фирмой «Эмиль Энрико». Качественно тубинги значительно уступали креплению Соликамского рудника — и в прочности и из-за слишком гладкой обработки фланцев. Добиться надёжной чеканки было очень трудно.

Были большие трудности и с замораживанием. Горькие сюрпризы начались ещё в июле 32-го года, в начале этих работ. Углекислота Ленинградского пивоваренного завода «Вена» была исключительно плохого качества. Примеси забились все змеевики и вызвали долгие простои. Отправленные в Ленинград четыре партии пустых баллонов вообще затерялись где-то в пути, разыскивать их пришлось 1,5 месяца.

Увы, неприятности только начинались. Из-за наклона некоторых скважин несколько замораживающих труб обнажились в стенке забоя. Их пришлось срубить зубилом, вставленным в «Бетонбрехер». Когда температура воздуха в шахте опускалась до минус 15 градусов, начиналось стихийное вымерзание сжатого воздуха, хотя воздушный трубопровод был уложен вместе с паропро-

водом, и воздух поступал в шахту при плюс 50 градусах. Все же присасываемая вместе с воздухом влага замерзала. Пришлось спешно разрабатывать конструкцию для сушки воздуха. Но она была смонтирована, когда проходчики углубились уже на 117 метров.

Угрожающее положение, колоссальный риск создавали перебои с электроэнергией. В первые два месяца 1933 года рудник систематически недополучал тока от Березниковской ТЭЦ. В январе и феврале заморозка простояла 45 суток! В самый ответственный момент, на контакте с покровной солью, из-за остановки замораживающих машин на 11 суток произошло значительное расслабление мерзлоты рассолов. Целый месяц был потерян проходчиками, да и вообще вся работа могла пойти насмарку. Но проходчики с честью справились и с этой бедою. Для безопасности на забой шахты была уложена мощная бетонная перемычка, а включенная наконец система охлаждения успела всё-таки сковать оттаявшую влагу. В карналлитовой толще пошло кирпичное крепление, и проходчикам стало намного легче. А уж на второй шахте были получены весьма высокие показатели, да и работы были обеспечены электроэнергией в неограниченном количестве.

Да, это была блестящая победа! Освободившись от ига иностранной фирмы, надменно диктовавшей свои условия и старательно скрывавшей технические секреты в Соликамске, наши молодые инженеры Пучков, Скворцов, Суворов, наши

отважные первопроходчики Глубоковский, Протасов, Фотин и другие доказали миру, что могут работать ничуть не хуже чужеземцев.

В войну, на первой комиссии подслеповатая старушка врач по фамилии Рошаль подозрительно спросила:

— Вы чем-то болели?

Надо сказать, что в 32-м году Протасова посылали на Соликамский рудник, и там он получил воспаление почек. Лечила Протасова как раз эта самая врачиха. Узнала ли она своего пациента, нет ли, но на фронт не пустила.

Второй раз призвали. Ходил на рынок. Бежит навстречу Якунин — проходчик с рудника, погибший потом на войне.

— Скорее иди в железнодорожный клуб, комиссия там и отправка сегодня же.

Пришел Протасов с вещичками, выходит на крыльцо начальник рудника Сперанский с каким-то военным начальником.

— Протасов, домой иди.

— Так я ж поеду.

— Ступай, тебе говорят!

На другой день принесли Протасову бронь.

— Но эта бронь, — вспоминает Аркадий Николаевич, — не больно красна была в то время. Только что бомбёжки не слышали, это да. Работали в войну нередко и по 18 часов.

Работали без отпусков. В сорок пятом году дали Протасову первый отпуск, отправили с провожаемым в санаторий. Падал в шахте, а задание надо выполнять.

Механик Баранов говорит:

— Э, Протасов, сейчас бы тебе килограмм сала, ты бы бегом бегал.

Отправили Аркадия Николаевича в мехцех ролики для транспортёров расхаживать. Тут ребята говорят:

— Бросай ты эти ролики, залезай под верстак. Ишь как тряпка белый. Какой из тебя работник?

Но Протасов ролики расходил, погрузил на площадку и опять упал, «кружение головы получилось».

— Он про шахту может всю ночь разговаривать, он у нас шахтёр, — с мягкой некичливой гордостью говорит Александра Ивановна.

— В одно прекрасное время бурил я в камере, где сейчас депо. Соль надо было техническую и камеру требовалось повесить на десять метров. Бурил, бурил, что-то сердце кольнуло. Дай, думаю, схожу в шестую камеру, как там женщины работают? Прихожу, женщины соль на рештак качающийся кидают лопатами. Смена Нины Ивановны Шульгиной как раз работала. А над ними закол висит, как туча чёрная. Как его уронить, пока сам на головы не упал? Обрушать надо!

— Где начальник смены? — спрашиваю у навальщиц. — Выключайте всё и уходите!

Те не знают, где их начальник, кидают как заведённые, 18 тонн — умри, а дай за смену...

Что и говорить, героически трудились под землёй в войну не только мужчины: А.Н.Протасов, Г.И.Кибанов, А.С.Чупин, В.В. Дзабаев, Г.А.Фотин,

Н.А.Соловьев. В шахте в то время работали преимущественно женщины. Молодые специалисты Н.Шульгина, М. Ноздреватых, Е.Захаренко, А.Коркишко, А.Савченко и К.Бычкарь прекрасно справлялись со своими обязанностями.

В то время рудник значительно пополнился кадрами из Кировской области. Девушки из вятской глухомани вначале боялись спускаться в шахту, а потом становились отважными взрывниками, такими, например, как Феня Ложкина.

Но особенно самоотверженно, по-фронтальному трудились Меркушева, Утробина, Язева, сестры Романовы. Теперь им трудно даже оторвать непослушными пальцами билет в троллейбусе, а тогда всю смену не выпускали из рук лопаты.

У Протасова у самого дома — «девичье царство», как не болеть за навалыщиц?

— Выключил я всё сам, взял ломик, качал, качал, закол пружинит, а не берётся. Сходил, принёс железнодорожную лапу. Только подсунул, — он и грохнул! Рештаки, сами знаете, железные и поверхность у них ребристая. А разгладило как стол ровнёхонько. После смены вызывают «на ковер» к начальнику рудника. Сперанский был — оторви ухо с глазом! Начальник хороший и человек хороший, но с него спрашивали — спрашивал и он. Ему уже доложили: сходите, посмотрите, что Протасов натворил.

Соскакивает на ноги, как солдат:

— Ты что, Протасов, сегодня наделал? Ты что рештаки ломаешь? Ты что самовольничаешь?

— Я думаю, что я хорошо это сделал.

Нина Ивановна Шульгина сидит в уголке, улыбается. Тут и Сперанский улыбнулся:

— Правильно ты это сделал. Молодец, Протасов!

— Ладно, мало-мало оправдался, значит. Главное, что люди целы...

Скучали ли они по деревне? Когда было скучать? Да и жили в своём доме. В 35-м году его купили, он набок валился, поправили, прируб сделали. Александра Ивановна, чтоб прокормить семью в трудные годы, и косила, и жала серпом исполу. С гектара три пуда, если густой хлеб, а если жидкий — 2,5. И по пять гектаров жала, и по шесть, а один раз — семь. 19 октября ещё ездила жать. Жала, жала, ползала, а 23-го родилась Таня.

Столько детишек — приходилось держать корову. А как сеном запастись, если отпуск у тебя в апреле?

— Николай Николаевич, — просит Скворцова Протасов, — мне не надо бы в это время, мне бы во время сенокоса.

— Ты проходчик квалифицированный. А мы будем контакт проходить в июле. Сам знаешь, что это такое.

Вот и весь сказ.

В 44-м году наградили Протасова медалью «За трудовую доблесть». Славно поработал он на пуске карналлита. В 50-м году труд Аркадия Николаевича был отмечен высшей наградой Родины — орденом Ленина.

— Сказали, что лошадь подадут ехать во Дворец Ленина за орденом. Лошадь была при домо-

управлении по имени Дрофа, кучер Захаров. Жив ли нет сейчас, не знаю. Всё Зою Ивановну — кассиршу возил с авансом и додочей. На лошади не поехали, пошли пешком с Александрой Ивановной.

Весь он тут, рабочий — крестьянин Аркадий Николаевич Протасов. Помните его привычку — лошадь жалеть, не утруждать своей персоной? А как, скажите, не жалеть её, кормилицу? Ему ли, Протасову, не знать, как слепли лошади в угольных шахтах, смолоду позабыв, что такое свет и раздолье? Кому неизвестно, что первая калийная шахта в Соликамске начала проходку «рассейской механизацией» — конным воротом, что компрессора для замораживающих машин везли упряжкой 72 лошади, так как железной дороги от Усольской до Соликамска тогда ещё не было. А при перевозке тяжёлых буровых станков их впрягали по тридцать и более, и вслед за транспортом обычно следовала ремонтная бригада, восстанавливавшая мосты, которые этот груз буквально раздавливал.

Досталось и березниковским сивкам-буркам. И на торфоразработках, и на откатке пустой породы. А сколько брусьев для шпальника, сколько швеллеров и тавров перевезли они, сердечные.

Так что правильно сделали Протасовы, что не стали дожидаться лошади.

В январе 1957 года вышел Аркадий Николаевич на пенсию. Однако связь с рудником не прерывается. Богатейший опыт и знания он до сих пор передаёт молодому поколению калийщиков.

Нет-нет да и придёт к нему с тетрадочкой молодой специалист, и Аркадий Николаевич никогда не откажет в совете. Все сложные вопросы, технически связанные с эксплуатацией стволов, всегда решались с его непосредственным участием.

Четыре месяца был пенсионер Протасов куратором на четвёртой вентиляционной шахте, спасая положение. Схалтурили, напортачили шахт-спецстроевцы. Где свинцовой прокладки не положили между тубингами, где не все болты поставили, скрепляя чугунные сегменты, или поставили тят-ляп, наприхватку. И потёк рассол в шахту. При минус 35 градусах он трясётся как холодец, а при минус 42 становится как камень. Не смогли шахт-спецстроевцы толком заморозить соляное озеро, путём оградить от него ствол шахты, замуровать влагу тубинговыми кольцами.

— Такого бы вам надо было Скворцова, как у нас, — в сердцах сказал Протасов горе-проходчикам, — он бы вам показал!

— Спешка была.

— А у нас не было спешки?

И спешка была, и рабочая совесть тоже.

Я СЕБЯ НЕ ПРОЩАЮ

Согласно «Выписи из метрической книги» о родившихся за 1910 год, выданной Московской Вамме Кларейской, что за Тверской Ямской, церковью, отец мой Леонид родился 2 (15) февраля, крещён 13 (26). Имя, отчество, звание родителей: Московской губернии, Богородского уезда, Шиловской волости, деревни Стуловой крестьянин Сергей Иванов Решетов и законная жена его Татьяна Стефановна, оба православного вероисповедания.

Согласно свидетельству о смерти, выданному в 1954 году, Решетов Л.С. умер 4 мая 1940 года, в возрасте 30 лет. Причина смерти — прочерк, место смерти — загадочная буква «Z».

По другому свидетельству 1990 года, Решетов Л.С. умер 13 апреля 1938 года. Причина смерти — расстрел, место смерти — г. Хабаровск.

Чему же и кому прикажете верить? Может быть, непорочной газете «Правда»? В июне 1934 г. о политотдельской газете «Вызов» она писала:

«Крохотную газетную полосу можно при умении, при любви к делу превратить в большое, культурное и политическое явление. И это сделал редактор «Вызова» Л.С.Решетов. Размер двух страниц его газеты — полстраницы «Правды». На этой

небольшой площади т. Решетов сумел в далёком Приморье организовать большое, интересное и культурное хозяйство».

А 30 сентября 1937 года та же непорочная «Правда» в статейке «Кто редактирует «Тихоокеанскую звезду» пишет:

«Очеркистом в «ТОЗ» работает Решетов, которого враги народа окрестили — дальневосточный Радек».

Вот тебе и новое крещение, но таинство его совершил, увы, не священник Преображенский с причтом, как в младенчестве, а собкор «Правды» по Дальнему Востоку, стукач Ф.Вигдорович. По его доносу были расстреляны многие газетчики края.

...Какое-то время в Хабаровской тюрьме раз в месяц принимали денежную передачу — красную тридцатку в конверте. К заветному окошечку дни и ночи стояли многотысячные очереди. Мать не поверила, когда ей однажды вернули конверт и сказали: «Выбыл». Стала со слезами уговаривать принять деньги. Чиновнику за окошечком наконец надоело, и он показал матери свою пустую ладонь, ткнул в неё указательным пальцем и изрёк полущёпотом: «Скорее у вас вырастут вот здесь волосы, чем вы своих мужей увидите». Мать и тут не поверила и, пять лет отсидев в лагерях, продолжала надеяться на возвращение мужа, моего отца. До этого вот, пожалуй, документа из УКГБ СССР по Хабаровскому краю:

«Отвечаем на Ваш запрос о Решетове Л.С. Из материалов дела следует, что Решетов Л.С. был арестован 9 октября 1937 г. (мне было полгода —

А.Р.) в Хабаровске за участие в антисоветской правотроцкистской организации, якобы существовавшей в редакции «Тихоокеанской звезды» и ставившей целью свержение Советской власти.

Все обвинения против него носили неконкретный характер и не были подтверждены в процессе следствия никакими фактическими данными. Сам Решетов до самого последнего момента категорически отрицал нелепые обвинения следователей в причастности к антисоветской и вредительской деятельности.

Несмотря на то, что следователями не были получены материалы и доказательства, компрометирующие Решетова Л.С., 13 апреля 1938 года (мне было год и 10 дней — А.Р.) он был приговорён на закрытом заседании выездной коллегии Верховного суда СССР к высшей мере наказания. Приговор был приведён в исполнение в этот же день. В процессе следствия, проведенного в УКГБ по Хабаровскому краю, необоснованность обвинений, предъявленных Леониду Сергеевичу, нашла полное подтверждение. На основании вновь полученных материалов, а также по заключению Главного военного прокурора Военная коллегия Верховного суда СССР приговор от 13 апреля 1938 года в отношении Решетова Леонида Сергеевича отменила и дело прекратила.

Таким образом, честное имя Леонида Сергеевича восстановлено, хотя это и не может компенсировать трагической и неоправданной его гибели».

Итак, Леонид Решетов, он же «дальневосточный Радек», он же ученик ФЗУ, слесарь, помощ-

ник машиниста паровоза, член партии с 18 лет, секретарь комсомола Саратовского комбайнового завода, студент Института красной профессуры, очеркист «ТОЗ», изменник Родины...

Лебединой песней отца был большой биографический очерк «Маршал Блюхер», напечатанный в «Тихоокеанской звезде»* 6 августа 1937 г., а через три месяца отца забрали, и он исчез навсегда.

Мать моя — Нина Вадимовна Павчинская-Решетова, родилась 1 апреля 1914 г. во Владивостоке, «на горушке», на Орлином гнезде, по-иному. Умерла в Перми 12 мая 1991 г. в 4.25 утра, в воскресенье, похоронена в Березниках.

А я родился 3 апреля, и всегда мы обе даты отмечали вместе, иногда праздновали и 1-го и 3-го, если были деньги. Впрочем, их всегда не было.

Никогда себе не прощу, что слишком поздно, перед самой смертью, уговорил маму писать биографические воспоминания: теперь уже ничего не уточнить, не исправить и не добавить к тем 5—6 листочкам, которые она успела заполнить.

По записям выходит, что её прадедушкой был Георгий Нижарадзе, предводитель дворянства в городе Кутаиси, хлебосольный и радушный хозяин:

«...С утра во дворе подымался переполох: метались повара, ловили кур и индюшек. Дым стоял коромыслом. За стол никогда не садилось менее двадцати человек, одних детей было девять.

**До этого была встреча Л.Решетова с Блюхером, уточнение с ним содержания этой статьи.*

Воды в доме никто не пил, всюду стояли кувшины с молодым виноградным вином. Во дворе было закопано пять огромных кувшинов. Если гостей было мало, прадед считал день потерянным».

«...Прадед был ужасный паникёр. Если он куда-нибудь должен был ехать в 10 вечера, то в 8 утра уже чинно сидел на станционной самейке, опершись на палку. Когда его спрашивали, зачем он себя мучает, ведь поезд будет только вечером, он отвечал: «А чёрт его знает, вдруг вздумает придти раньше».

«...В Кутаиси ждали приезда Государя. Готовились к этому событию кто как мог и не мог. Закладывали имения, влезали в неоплатные долги, чтобы сделать жёнам небывалые туалеты. Некоторые доходили до того, что золотом расшивали свои панталоны. А прабабушка-красавица, исключительно умная и скромная женщина (княгиня Нина, урожденная Церетели, — по тем же записям матери — А.Р.) была на том приёме в своём обычном национальном костюме. Европейского платья она никогда не носила. И случилось невероятное для всех — царь протанцевал какой-то танец именно с нею. После чего прадед чуть с ума не сошёл со страха (из-за платья). Дома он паниковал и кричал: «Что ты наделала! Погубила, погубила. Пропал я теперь, пропал. Сейчас заберут меня, вай ме...»

«...Окончив Институт благородных девиц, их дочь Саша Нижарадзе, стала Александрой Георгиевной Петровой, выйдя замуж за моего деда — офицера Петрова Александра Дмитриевича. До

армии он получил высшее образование — что-то связанное с топографией».

В это время на Кавказе шла татаро-армянская резня, и дедушкин полк был послан на усмирение и стоял близ Еревана, в местечке Озургети: там и родился их первенец — ненаглядная Люлюсенька, мать моей матушки и моя любимая баба Оля.

Удивительное дело. Баба Саша, моя прабабушка, умерла в 1940 году у нас в Хабаровске. Мне было три года, брату моему Беталу — четыре. А я её помню! Баба Саша очень много читала и непрестанно курила. И я помню, как мы с братом таскали у неё папиросную бумагу, жевали её и заливались хохотом победителей.

О Люлюсеньке, моей бабушке Ольге Александровне Павчинской, я бы мог исписать не одну страницу. Это она отстояла нас у энкавэдэшников, когда пришли арестовывать мать, она спасла нас от детдома, вырастила и вскормила в войну и привезла в 1945 году на Урал к отсидевшей матушке.

Военное детство, бабу Олю я описал в своей повести «Зёрнышки спелых яблок». Жаль, что дух соцреализма помешал мне показать всё как было на самом деле, без умалчиваний и экивоков.

Бабушка работала ночным вахтером в тресте «Приморзолото», портнихой-надомницей в пошивочной мастерской, прекрасно вышивала гладью и крестиком. Она умела гадать на картах, не брала ни копейки, и к ней часто заходили жёны и матери красноармейцев. Десятку пик, обозначавшую

в её гадании болезнь и смерть, она всегда прятала под клеёнку на столе, чтобы та никому не выпала. Бабушка постоянно читала нам наизусть стихи: «Князь Курбский от царского гнева бежал...», «Как ныне собирается ...», «Скажи-ка, дядя, ведь недаром...» или пела ариетки Вертинского «Минуточку», «Попугая Флобера», «Лилового негра».

Может быть, поэзия от Пушкина до стихов Петра Комарова «Этот день по-осеннему мглист...» и стала мне родной благодаря бабе Оле.

Мать моя была арестована Хабаровским НКВД 17 июля 1938 года. Никакого следствия и очного суда по её делу не было. Осуждена была Особым совещанием г. Москвы от 31 июля 1938 г. сроком на 5 лет по статье ЧСИР (член семьи изменника Родины). О том, что осуждена и на какой срок, она узнала только по прибытии в лагерь — в Казахстан, где отбывала срок и жена Э.Багрицкого, где сидел Николай Заболоцкий. Там же, правда на воле, родился прекрасный поэт и мой лучший друг Виктор Болотов, увы, ныне покойный. При нём стыдно было писать плохо. Так я боялся показаться бездарным и пермским прозаикам Льву Давыдычеву и Виктору Астафьеву.

...В телячьих вагонах с решётками на крохотных оконцах везли в неизвестном направлении тысячи жен, в том числе и мою матушку.

На одной из станций её умудрился разглядеть какой-то стриженный долговязый парень. Скрестив пальцы рук в виде решётки, он показал, что тоже побывал в неволе.

— Эх, ягодка! — выдохнул он. — Едешь туда такая ладная, красивая, а вернёшься вот такая, — и скрючил указательный палец.

Маме удалось бросить, а парню спрятать от спящих вдоль состава вертухаев с овчарками маленькую записочку с нашим адресом: г. Хабаровск, Портовый переулок, 8: «Еду неизвестно куда, я жива и здорова. Моё место под нарами. Береги детей. Нина».

Парень прислал письмо, бабушка его получила, выучила наизусть и сожгла на керосинке. Письмо считалось подготовкой и попыткой побега, за это добавляли срок. Но пришлось ещё долго отдавать деньги и посылочки «для Нины», которые обещали передать через «верные руки» наглые местные «сострадательницы». Они даже «свиданку» обещали устроить, эти оторвы.

После Казахстана мать досиживала в лагерях Соликамскстроя, в посёлке Боровск. Там был номерной завод взрывчатых веществ, лесоповальные участки и КСД — комбинат стройдеталей по официальному и Косой Степан Данилович — по народному красноречию. Он, кроме горбыля на дрова, чурок для газогенераторных машин, опила для клоповных матрацев, кроме тоненьких планочек для простых и химических карандашей, кроме неподъёмных еловых гробов с выпавшими сучками-глазками, вырабатывал и синий древесный спирт «Б 4», незаменимый при встрече дней календаря.

Мать определили «на чурку». Зимой надо было вырубать вмёрзшие в камский лёд брёвна, ошку-

ривать их буквально по рыбьей чешуйке и пилить двуручной пилой на диски, отмеряя их толщину спичечным коробком. Диски раскалывались на конические части и в тачках везлись в сушилку. За миску баланды не один кубометр древесины «нарыло». Лагерное начальство не было уж очень покладистым. Один грозил всем зэчкам поставить клизму из битого стекла, другой так обожал тишину и порядок, что даже издал соответствующий приказ: «Ходить всем абсолютно на когтях, руки держать в зад». Работали всё время с дровами, а в бараках была стужа. По ночам волосы у зэчек примерзали к нарам.

Но... «перемелется — мука будет». Такие последние слова сказал мой отец матери, когда его забирали.

В 43-м году, 17 июля, отсидев от звонка до звонка свои пять лет (детский срок, как считалось), мать была освобождена, но без права выезда в другое место.

Освободившись, мать устроилась копировальщицей, переснимала на кальку чертежи с ватмана, копила деньги нам на дорогу из Хабаровска. Недоедала, только курила вдоволь и была как ивовый прутик.

Встретились мы в 45-м году, после войны с Японией. В поезде я всю дорогу глядел в окно и думал, что все большие города и станции называются одинаково — «Кипяток», именно такая надпись сразу бросалась в глаза на каждой остановке. А читать печатные буквы мы с братом Бетей умели ещё до пяти лет. Брат уже прочёл мне Тома

Сойера, Гека Финна, «Чёрную курицу», всего почти Лермонтова и множество приказов Верховного Главнокомандующего.

Писателем я быть не собирался. В детстве, в отрочестве мечтал стать художником. Таким, как Шишкин или хотя бы Левитан. Что за сосны росли в Боровске! Что за кедры шумели, как море, неподалёку в деревне Половодово! Из этого Половодова, говорят, ходоки к Ленину ходили. Но под уральский кедр он бы плечико не подставил...

Рисовал я одержимо, на любом клочке бумаги, на любой фанерке. Рисовал даже на продажу акварельные пасхальные и новогодние открытки — вербочки, хвойные лапки. Кисточкой из «рысьего уха» аккуратно раскрашивал каждый лепесток, обведенный тушью. Ювелирная работа — фальшивые деньги, наверное, рисовать легче. Зарабатывал я за ночь рублей 6—9 по теперешнему курсу. Чтобы, засыпая, не клюнул носом, меня привязывали за грудь к стулу. Акварельные краски мы купили у военнопленных немцев в Березниках, куда переехали в 47-м году — почти насовсем, как оказалось.

Я месяца два посещал даже изокружок при Дворце культуры, но застрял на учебном рисунке, на шарах и призмах, не добравшись до безрукой богини. Скучно было рисовать по правилам, «строить» рисунок, стыдно было, что пацаны в два раза тебя младше уже рисуют гипсы, бюсты и маски. Теперь-то я знаю, что мне просто не хватило настойчивости.

Брат мой Бетал с серебряной медалью окончил ту же Березниковскую школу им. Пушкина, у той

же классной руководительницы Хониной, что и наш президент Ельцин. В Березниках на многих стройках честно вкалывал его отец — беспартийный про- раб Николай Игнатьевич Ельцин. В памяти людской он светлее своего чада. Николай Игнатьевич строил школу им. Калинина, я в ней окончил седьмой класс. Он же строил все объекты 1-го калийного комбината, на котором я потом ишачил слесарем, мастером с 56-го по 82-й год. Двадцать шесть лет — как солдат царской службы.

Бетал поступил в Московский институт геодезии, аэрофотосъемки и картографии, увлекался альпинизмом. 15 февраля (в день рождения отца) 1960 г., перед самой защитой диплома, ушёл из жизни. На этом свете мне не узнать причины. Самый мой любимый человек на свете!

Я же после семилетки поступил в Березниковский горно-химический техникум. Пошёл я туда из-за большой стипендии, которая была как половина матушкиной зарплаты: у неё около 600, а у меня около 300 рублей, и ещё прельщала бесплатная горняцкая форма: шинель, петлицы с молоточками, фуражка с мощным козырьком. Мы-то до этого ничего, кроме арестантских бушлатов, не носили! Я подавал заявление на геологоразведку, но туда набрали одних десятиклассников. И пришлось мне стать горным электромехаником. Начинать работать помощником бурильщика в шахте. В первую же смену мой наставник Лоскутов взобрался на пустые ящики из-под взрывчатки с двадцатидвухкилограммовой бурилкой в руках и сказал: «Ну, давай, паря, бурить. С пердячим паром. Ты



*Леонид Сергеевич
Решетов —
отец поэта (1936).*



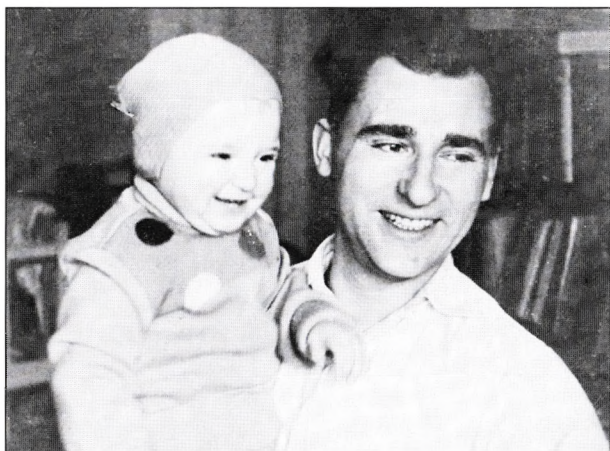
*Нина Вадимовна
Павчинская —
мама поэта.*



Мама поэта с братом Вадимом.



*Родители поэта с их первенцем Беталом.
Хабаровск, 1936.*



*Отец Леонид Сергеевич с сыном Беталом.
Хабаровск, январь 1937.*



Бетя, Алёша и баба Оля. Хабаровск.



*Нина Вадимовна с сыновьями Бетей и Алёшей.
Березники, 27 сентября 1948.*



Бабушка поэта — Ольга Александровна Павчинская.



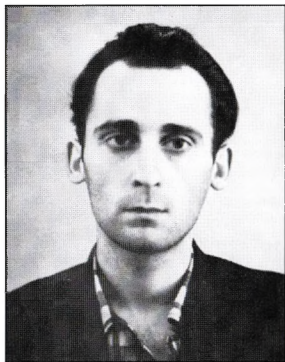
Вадим Вадимович Павчинский. Хабаровск. Фото 1962 г.



Семья Решетовых. Березники.



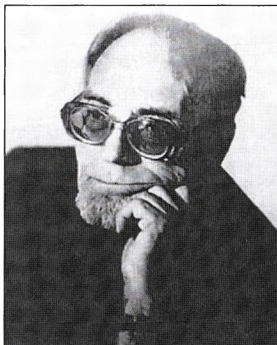
Алексей Решетов — учащийся техникума.



Алексей Решетов.



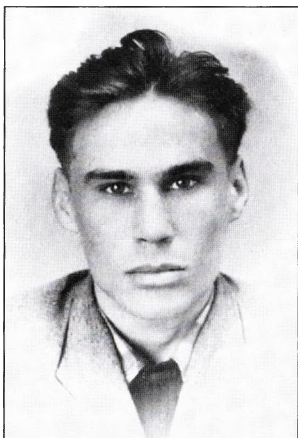
Поэт А. Л. Решетов.



Писатель А. П. Ромашов.



*Вера Нестерова,
в замужестве Болотова.*



Поэт Виктор Болотов.



Шахтёры Алексей Решетов и Константин Шестаков.



Поэты Павел Петухов и Юрий Марков.



С поэтом Яковом Андреевым.



Юрий Марков, Владимир Михайлюк, Алексей Решетов.



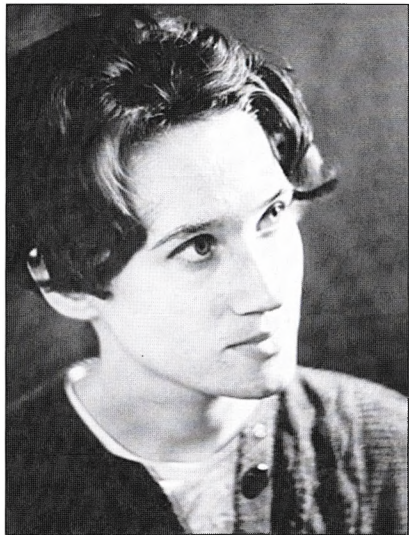
Поэт Владимир Радкевич.



Алексей Решетов.



А. Л. Решетов, В. И. Радкевич, Л. И. Давыдычев



Тамара Катаева.



Алексей Решетов.



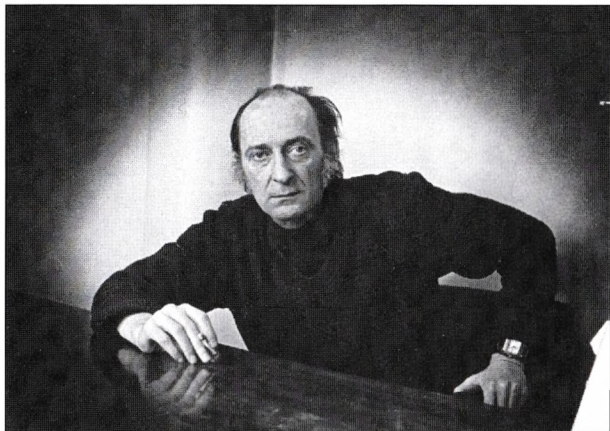
Дом, в котором Решетовы жили в Березниках.



Подъезд дома, в котором Решетовы жили в Перми.



Прощание с Березниками, 1982.



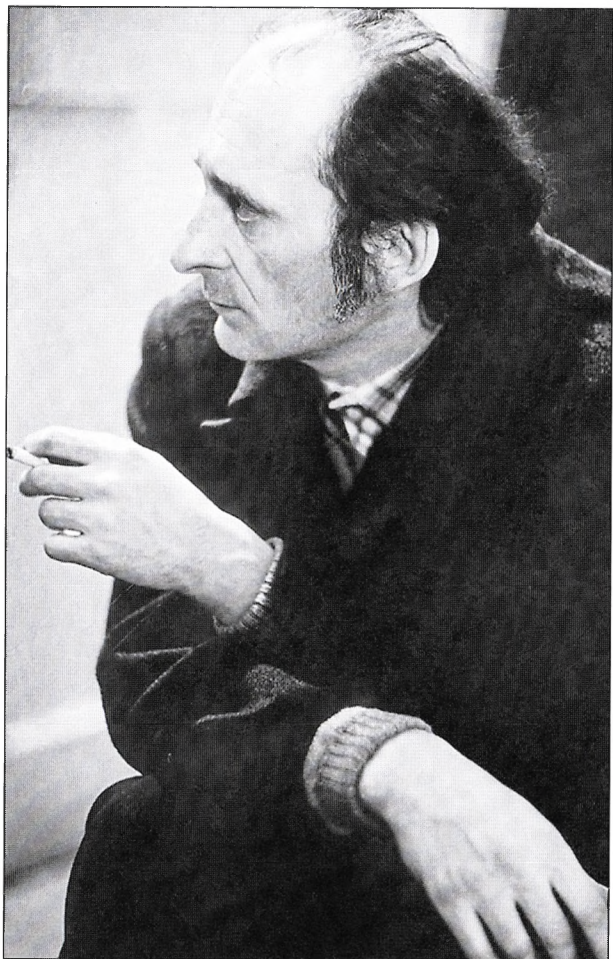
*Алексей Леонидович Решетов – литконсультант
Пермского отделения Союза писателей.*



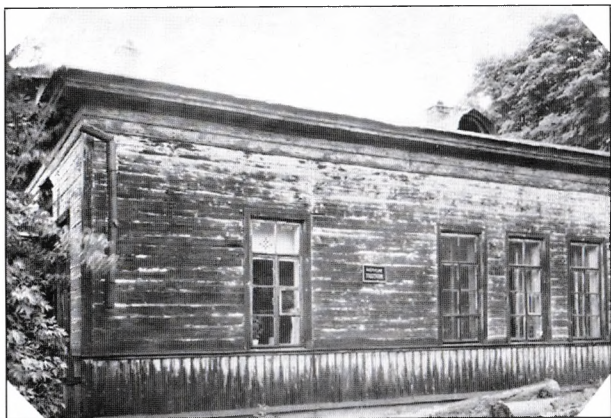
Брат Бетал.



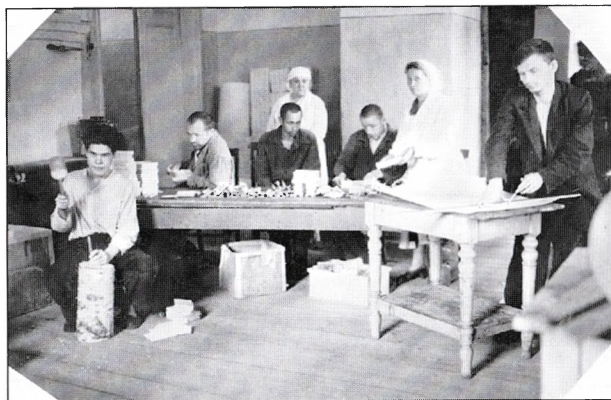
*Дочь Бетала –
Ольга Антипьева.*



Алексей Решетов, Пермь, середина 80-х.

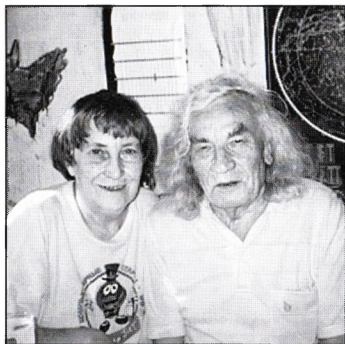


Пермская психиатрическая клиника.





*Поэт
Станислав Божков.*



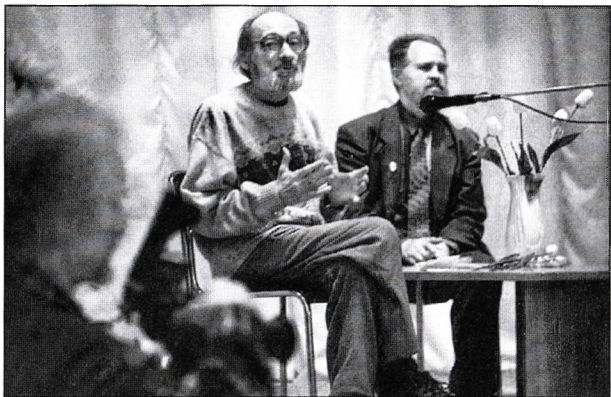
*Редактор Надежда Гашева и
писатель Роберт Белов.*



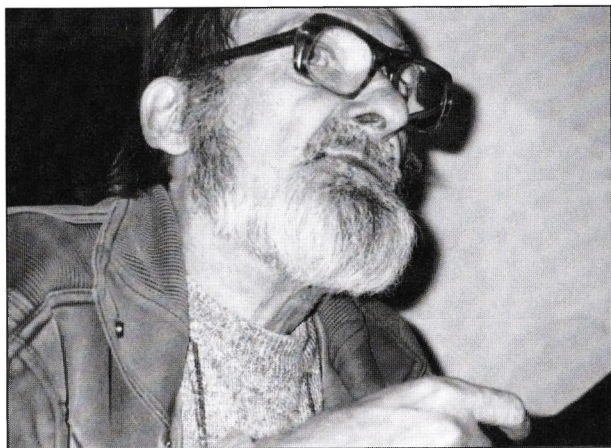
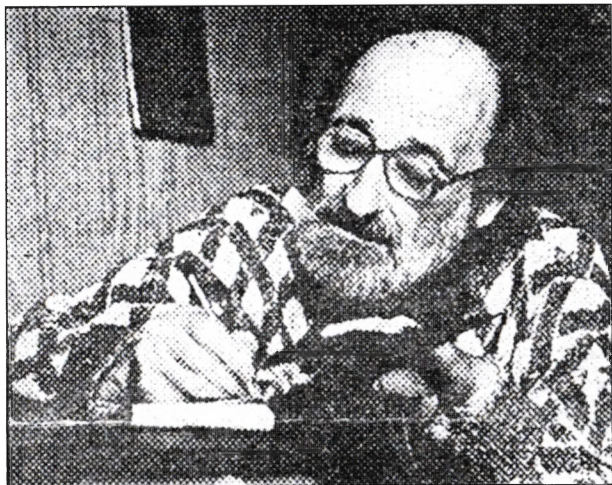
*Поэты Алексей Решетов и Фёдор Востриков.
Пермь, 1999.*

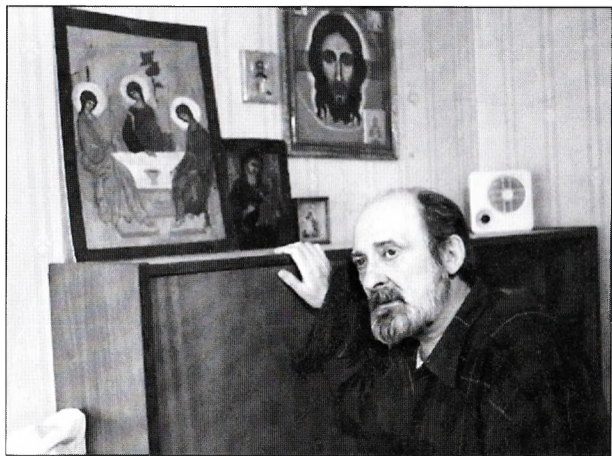
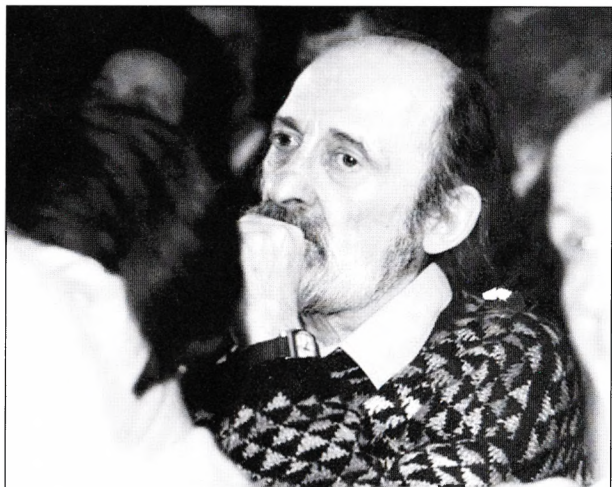


*С Ириной Христоролюбовой и женой Тамарой.
Пермь, 1997.*

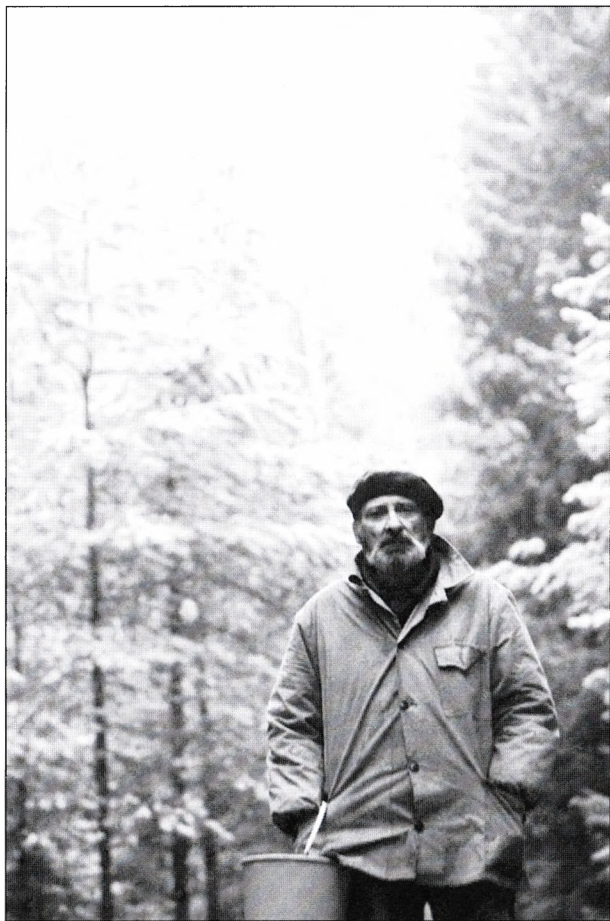


*Первый фестиваль «Решетовские встречи».
Березники, конец июня 1999.*

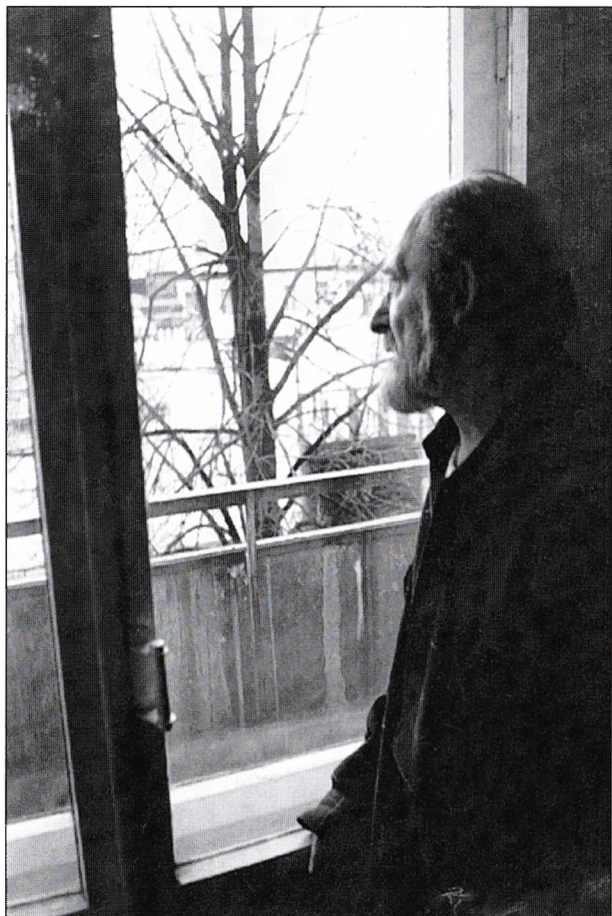




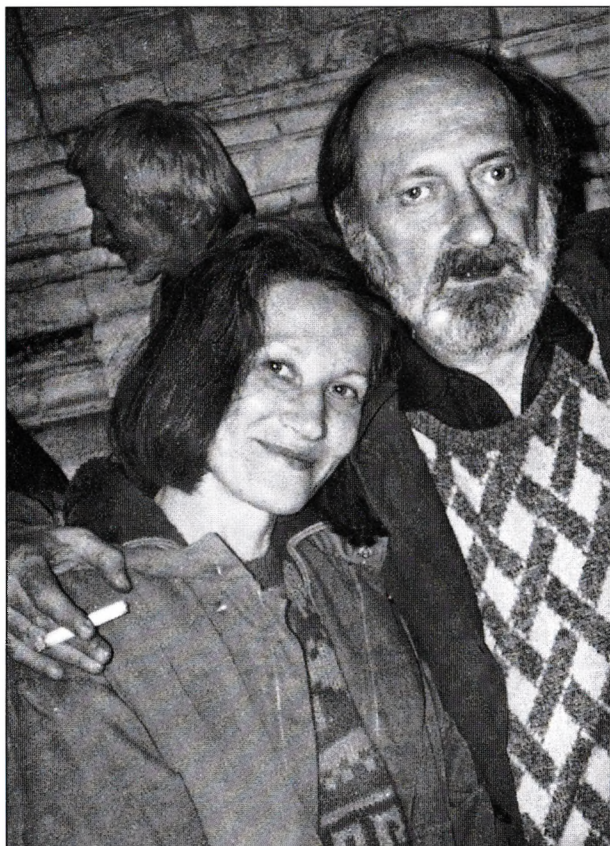
▲
◀ *На рубеже веков.*



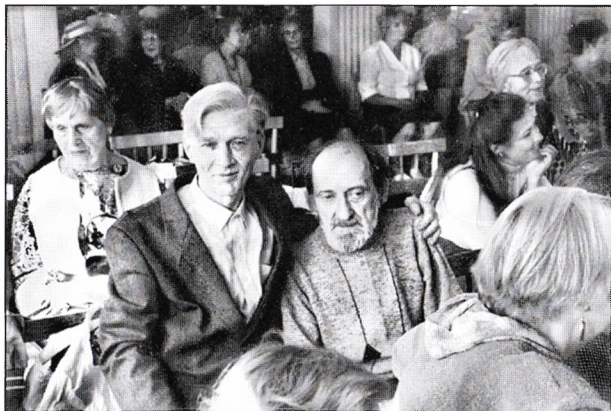
Березники.



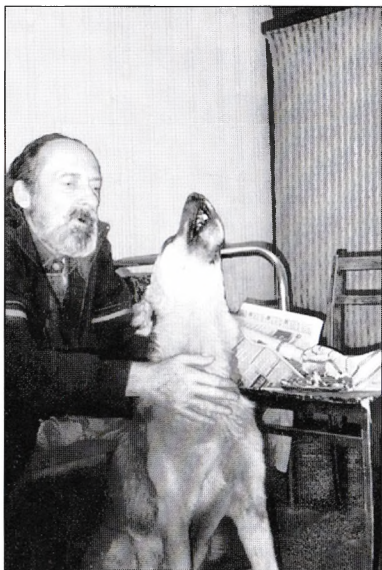
Пермь.



Тамара и Алёша. Соликамск, 1994.



С композитором В.П.Чижовым.



Дуэт с Милордом.

*Презентация сборника «Любимых наших имена».
Екатеринбург, 6 апреля 2000.*



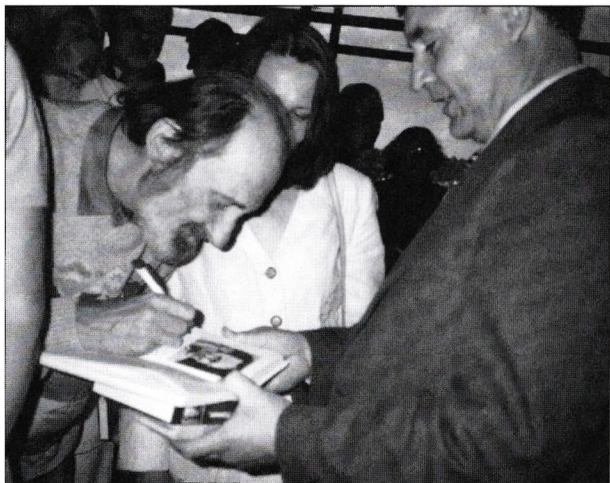
*Т.Богина, Ю.Яценко, А.Решетов, В.Станцев,
Т.Катаева, Е.Олешко.*



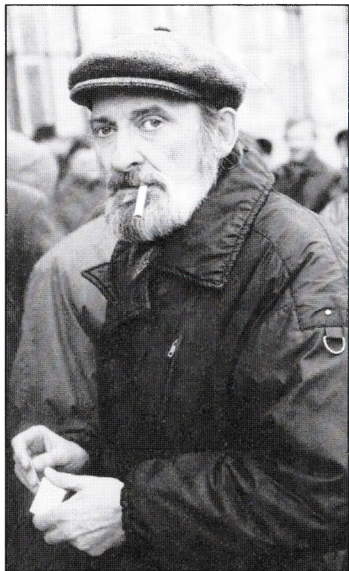
А.Решетов, А.Войтенко, Е.Олешко, В.Станцев.



А.Драт, Т.Катаева, А.Решетов, Т.Рыбина, А.Войтенко.



Автограф.

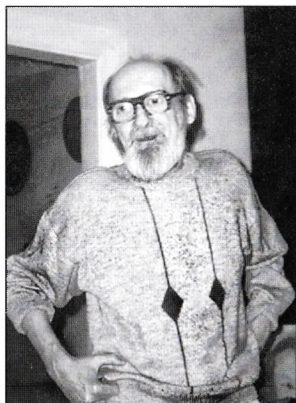
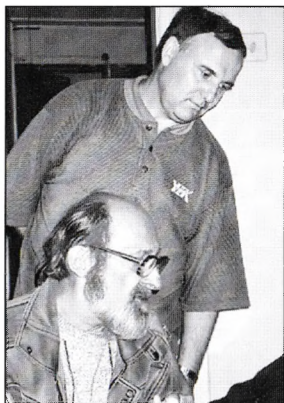


Пермь, конец 90-х.



*В Свердловском отделении Союза писателей России.
Сидят (слева направо): Ю.Яценко, Т.Богина, В.Блинов,
А.Решетов, Т.Катаева. Стоят: Л.Быков, В.Дагуров,
А.Войтенко, Г.Дробиз.*

*Разговор о рукописи «Тёмные светы»
в Союзе писателей. Екатеринбург, август 2000.*



А.Решетов, Л.Быков, А.Войтенко.



А. Решетов, Л. Быков, Ю. Филоненко, А. Комлев.



С женой Тamarой.



1 января 2002 года — Андрей Комлев у Решетовых.



*Последний приезд в Березники.
У надгробия родных. Конец июня 2002.*



*Березники 5 апреля 2003.
У могилы поэта...*



*Открытие памятной доски в Екатеринбурге.
29 сентября 2003.*



*Березники, площадь Решетова. 4 апреля 2004.
У мемориальной доски на рудоуправлении —
Ю. Марков, Т. Катаева, А. Комлев.*



*Березники,
25 июня 2004.
У мемориальной
доски на доме,
где жил поэт —
Т. Катаева,
О. Антильева-
Решетова.*

меня придёрживай, а я буду давить». Он обуривал кровлю-потолок, держа бурилку над собою, а я «придёрживал» его могучую фигуру и делал в свободное время «поправки» — неглубокие отверстия в полу и по бокам выработки. Здесь бурилка «идёт пешком», давить на неё не надо. Под утро пришли женщины-взрывники, зарядили забой аммонитом, дали предупредительный сигнал, и все бросились назад, в одном безопасном направлении. А я рванул под отпал, в другую сторону, где уже и взрывников не было, только потрескивали на бикфордовых шнурах огонёчки. Лоскут кинулся за мной и буквально выволок меня из-под взрыва. Нас засыпало лишь волной мелкой крошки на излёте, а не теми пудовыми глыбами каменной соли, которые и стальным челюстям дробилок не по вкусу. Протерев глаза и отплевавшись, мой ангел-спаситель Лоскут сказал: «Ну, керя, теперь жить будем долго!».

Его уже нет. А я живу, как видите, и не могу простить себе, что даже не поблагодарил его, не поставил пузыря за спасение.

После недолгой такой практики я много лет работал на калийном руднике, на солемельнице. Мы мололи разноцветную, сургучно-красную, индигосинюю, молочно-белую и бесцветно-прозрачную, как слеза подземного бога, руду, соль земли с самого доньшка Великого Пермского моря — карналлит и сельвинит. Без нашей добычи не было бы дивных удобрений и наилегчайших металлов, не росли бы сказочные урожаи и не летали ракеты и спутники. Полдела на нашей мельнице делали ста-

ренькие немецкие дробилки «Блек». Нам же, дежурным слесарям, всё время приходилось помогать им кайлом и лопатой, ломиком и кувалдой.

«Ничего, — утешал я себя, — все великие умы часто занимали себя какой-нибудь механической работой. Спиноза шлифовал стекло, Толстой ходил за плугом, Павлов играл в городки. Как-нибудь перезимуем! Слесарную работу любил сам Циолковский!».

Писать я начал не со стихов, а с прозы. В 53-м году пермская молодежная газета «Большевистская смена» напечатала мой первый рассказ. Каждый год она объявляла конкурс на лучшее прозаическое произведение, и я несколько раз откликался на их зов рассказами, сентиментальными и неуклюжими. За четыре года опубликовали четыре рассказа и за два даже дали премии. Потом написал повесть «Зёрнышки спелых яблок» — вернее, не написал, не сочинил, а записал её под диктовку ещё молодой, ещё ясной своей памяти. Так бывает: кто-то в тебе сидит и рассказывает. Повесть понравилась жившему тогда в Перми В.Астафьеву, и её издали книжкой в 1961 году.

Стихи начал писать после первых своих рассказов. Там были такие строчки: «Над рекой шумят березки с левитановской картины», «Меж кустов, травы не приминая, осторожно бродит тишина»... С ещё не промокшими чернилами я таскал эти свои опусы в «Березниковский рабочий». Там журили за подражание Есенину, говорили, что газета должна быть читабельной и боевитой, как сказал Ленин, и всё же снисходительно печатали.

После Пушкина и Лермонтова я страстно полюбил Есенина. Многие его стихи я слышал от матери. В лагере она по памяти собрала целую книжечку его стихов, сделала страницы из обёрточной бумаги, а на переплёт пошёл чёрный толь, которым покрывали крыши бараков. Книжицу берегли пуще хлебной паечки, прятали от вертухав под лифчиком, но и её умудрились по уголкам обгрызть крысы.

А в детстве мама обожала лирику Афанасия Фета, не расставалась с его двухтомником. И брат Вадим с другими мальчишками дразнили её «Фетой».

Выдавливая из себя «есенинщину», я переключился на книжность:

Без Изольды Тристан умирает от ран.
И в бреду Дон-Кихот Дульсинею зовёт.
Я не знаю, не знаю, какая судьба
Ждёт меня, если рядом не будет тебя.

От этих стихов скоро пришлось отказаться. Слишком часто и громко мои друзья-приятели по двору и техникуму просили прочитать про Дристанна.

Первый живой писатель, которого я встретил в жизни и который от меня сперва небрежно отмахнулся, был Андрей Павлович Ромашов. Он работал тогда в Березниковском краеведческом музее, уже тогда издал в Перми свою первую книгу, повесть «Раннее утро». В черновике она называлась «Цветы на снегу». Узнав это, я стал смутно догадываться, как можно испортить свои находки по чу-

жой воле и указке. Ромашов подарил мне книжку Ду Фу и советовал вообще побольше читать китайцев. Спасибо ему за это! За Ли Бо в особенности.

В 60-м году в Перми у меня вышла первая книжка стихов «Нежность». С тех пор в разных городах — в Перми, Свердловске, Красноярске, Москве издано ещё около десятка поэтических сборников: «Белый лист», «Чаша», «Иная речь», «Станция — жизнь», «Не плачьте обо мне» и др.

В 65-м году принят в Союз писателей СССР, теперь он называется Союз писателей России.

Думая о прошедшей жизни, я за многое себя не прощаю. Я не могу простить себе, что не пошёл учиться дальше, в литинститут или хотя бы в педагогический; что не знаю никакого иностранного языка, что грузинских слов знаю только несколько: пури, квели, чемо таво, чемо гуло — хлеб, сыр, моя голова, моё сердце. Не могу простить, что ни с первой стипендии, ни с первой зарплаты не купил маме туфли. У неё никогда их не было. То лагерные опорки, то послевоенные танкетки, то полуботинки на микропоре, хотя последние годы она уже работала на инженерной должности. Я не могу простить себе, что в самые чёрные мгновения меня не было около брата. Не могу простить, что писал заурядные стихи, вместо поэзии высшей пробы, что книгам часто предпочитал ликёроводочные изделия, что никогда не видел моря и не летал на самолёте...

Ничего уже не исправить.

А. Решетов
15 августа 2000

П Р И Л О Ж Е Н И Я

Дмитрий Шеваров

ЛЁГКИЕ САНКИ

Вот девочка Геля допьёт молоко,
И мы с ней усядемся в лёгкие санки,
И вдруг улетим далеко-далеко,
Обнявшись, в воздушные синие замки...

А.Решетов

Мы встретились в январе, вечером, синие сумерки стояли на дворе, а в комнате — новогодняя ёлочка. Пили чай, говорили о книжках, перебирали дорогие имена. Виделись первый и, как оказалось, последний раз... А я с первых минут знакомства всё думал: какой близкий человек, как хорошо с ним. Его глуховатая, подгоняемая одышкой речь, его удивительные глаза цвета весенних проталинок — всё родное.

— *Алексей Леонидович, что вам дорого в русской классической литературе? Что вы перечитываете?*

— «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» Что может быть выше?.. Много у Пушкина знаю наизусть, не сомневаясь ни в одном слове, но люблю читать, видеть глазами текст. Обожаю Гоголя. Я очень рано выучился читать, но не по книгам, а по газетам. Первую настоящую детскую книжку увидел лет в восемь, когда мы с бабушкой приехали к маме на Урал.

Это была книжка под названием «Победа» пермской поэтессы Евгении Трутневой. А ещё у нас была книга совершенно особенная — её написала для меня с братом моя мама, пока сидела в лагере. Ей даже удалось отпечатать её на пишущей машинке. Не верите?..

Алексей Леонидович уходит в комнату и возвращается, бережно держа книжку с карандашным рисунком на обложке и надписью: «Дорогим сынишкам Бетульке и Гагочке от мамы Нины. 1940—1941». Сказка в стихах начинается с дивных строк:

По поляне голубой
Ходит месяц золотой...

— *У вас есть трагическое стихотворение о том, как после ареста отца домашнюю библиотеку свалили под окном во дворе.*

И рыжий дворник, подпитой,
При всех арестах понятой,
Сонеты Данте и Петрарки
Рвал на вонючие сигарки...

— Так и было. Друг отца, художник Владимир Иванович Костин говорил мне: «Ты не можешь себе представить, что это была за личность!..» А погиб отец, когда ему было всего двадцать семь. Костин всё собирался о нём написать, да так и не собрался. У него был слишком взрывной характер для такого занятия.

— *А в школе литература была вашим любимым предметом?*

— Любимых, кажется, не было. Ни одного произведения, о котором я писал сочинения, я не читал. Но пятерки были.

— *Кем вас видели в будущем мама с бабушкой?*

— Бабушка хотела одного только чтобы я не болел. Я в детстве много болел. А мать... Её не удивляло, когда я писал стишки к праздникам, потом их стали печатать в газете. Но она относилась к этому без восторгов. Поэзия — это было так далеко от того, где мы жили, как мы жили. С девяти лет пробовал подрабатывать, помогать матери. Открытки рисовал. Хотел стать художником. Масляные краски при Сталине были дешевле, чем сейчас. Гуашь так совсем дешёвая. Приехали мы как-то с мамой в Ленинград и купили там настоящий этюдник, палитру и кисточки изумительные, очень дешёвые. Когда ехали обратно, мне хотелось выпрыгнуть и толкать этот поезд, чтобы скорее попасть домой и дорваться до красок... И вот приехали мы, и я этот этюдник задвинул под стол и больше не вытаскивал. Даже на черновиках перестал рисовать.

— *Почему?*

— Заболелся. И как отрезало...

— *Вы были бы хорошим пейзажистом.*

— Нет, это случайное... Но ходить с этюдником по лесу — прекрасно...

— *А на шахту вы случайно попали?*

— Я бы не сказал.

— *Там было страшно?*

— Всякое было. Чем больше отдаляюсь от тех лет, тем больше переживаю. Сняты задавленные, придавленные товарищи. И они всё дороже становятся, всё ближе и ближе. Считается, что калийная шахта — самая безопасная, сравнительно неглубокая, метров триста, но есть и поглубже...

— *Работали механиком, кажется?*

— Ну, реально-то — лопатой... Я же пришёл после техникума, учился по электрооборудованию, но не умел даже лампочки поменять. Шахтёры меня учили. И ни разу не упрекнули.

— *А то, что вы стали писать стихи, печататься, издавать книжки, — это не мешало отношениям?*

— У меня настолько с людьми были хорошие отношения, что меня начальство за это недолюбливало. Я потом сам был маленьким, но начальством. Командовал соляной мельницей. К счастью, никого не заложил, не продал. Ведь у нас как было: четыре мужика на смену приходят, двое обязательно поддатые. Надо их как-то прятать... Нет, мне повезло с земляками. Они меня всегда понимали. Никаких гонений. Кроме благодарности, ничего в душе нет. Очень жалею, что в своё время, когда башка работала, я не вёл дневники. Я бы и о матери написал, что она испытала...

— *Мне кажется, лучший памятник вы поставили им своими стихами — и маме, и товарищам. Эти стихи будут жить гораздо дольше нас.*

— Пусть живут, но мне они не кажутся такими уж хорошими. Многие слова мне кажутся заменяемыми, и это не утешает... Кажется, у Кафки где-то: не дай мне Бог набить руку. Кажется, я уже набил... Нет, запланированное что-то написать — не дай Бог...

— *Виктор Петрович Астафьев ставил вашу поэзию очень высоко и говорил о ней, мне кажется, точнее всех критиков...*

— Я ему очень благодарен... Вообще-то он был человек строгий. Я Витю знал ещё до того, как был написан «Последний поклон». Помню, прочитал рассказ «Конь с розовой гривой» и настолько очаровался, что ходил как помешанный... А потом он уехал на Высшие литературные курсы и вернулся с них уже не Витя, а как мне один наш общий приятель написал: «Это уже не Витя, а какая-то глыба, человечище...» Что-то невероятное, непредсказуемое с ним случилось буквально в год-два — в смысле высоты, красо-

ты его прозы. Последнее письмо получил от него прошлым летом, книжки свои прислал, ещё сам подписал...

— *С кем в современной литературе вы ощущаете родство?*

— У меня непостоянный, переменчивый характер. Помню, нравились мне очень Ахмадулина, Вознесенский. любил их с первых стихов, а потом привык, остыл... Очень люблю Арсения Тарковского, Николая Панченко, Владимира Корнилова, недавно ушедшего. Очень меня потряс когда-то Кузнецов Юрий, это было что-то глобальное. Но это пока я Бродского не прочёл, а Бродского прочёл — тут уже надо как-то помалкивать.

— *Что значит — «помалкивать»?*

— Поскромнее быть. Некоторые стихи у Бродского мог бы написать поэт и моего уровня, но есть такие недоступные вещи... «Темно, как внутри иголки...»

Когда-то друг отца, дядя Володя, о котором я уже вспоминал, передал через кого-то мою книжку Ахматовой. Не знаю до сих пор, успела она её взять в руки или нет... Анну Андреевну в её последние годы настолько все любили. Помню, как прочитал её «Реквием», переписанный кем-то. Я после этого ходил с дрожащими руками. Необычайная вещь. И одновременно — доступная, народная...

— *Вам никогда не хотелось поменять свою судьбу на что-то полегче?*

— Я бы не хотел. Ведь это значит, что и детство своё отдать, а я ни на что его не сменяю...

— *Своё голодное, сиротское детство?*

— Прекрасное... Это сейчас у меня всё время какие-то фальшивые претензии. Нет, ни на лимузин, ни на особняк... А вот чтобы выпить никто не мешал. Или недоволен чем-то. А в детстве настолько ты благодарен солнышку, звёздам, что и ночь наступает —

хорошо, и утро — хорошо. За всё ты только благодарен бесконечно. И дальше эти дни становятся ещё драгоценнее. Они помогают переживать сегодняшней возраст... Когда жил в Хабаровске, Амур от нас был в трёх шагах, наш дом стоял в Портовом переулке. Дух перехватывает, видя ширину этой реки!.. Когда приехали на Каму — я ещё не видел её, а мы только шли к ней — впереди были густые сосны, они закрывали реку. Но на меня, семилетнего, что-то нахлынуло. И я как рванул на эти сосны!.. Долго бежал, минут десять, а потом мне открылась Кама, распахнулась передо мной... Вот такое у меня было предчувствие воды. Ни разу не был на море, но что такое власть воды, я знаю...

— *Даже по писательским путевкам на море не ездили?*

— Как же — я поеду, а мать и маленькую племянницу оставлю?... А то, что можно было вместе — этого даже не представляли. Денег у нас не было...

— *Какой у вас праздник любимый?*

— Новый год. Самый хороший праздник... Каждый год у нас с Тamarой удивительные истории происходят с ёлками. Было в Перми время, что ёлки не достать. И вот уже тридцать первое, а у нас ёлки нет. Идём через центр города мимо главпочтамта, оперного театра... И тут видим: стоит в снегу ёлка, роскошная, как пихта, и нет следов к ней. Кто, зачем её там поставил? Взяли на плечо, принесли домой, ахнули... Второй раз ещё лучше. Так же, под Новый год идём мимо Дворца культуры имени Дзержинского, а туда елку привезли, такую огромную, что верхушку рабочие отрубили и бросили на крыльце. А верхушка-то — это же самый блеск. Взяли, принесли... А третий раз вот тут уже, в Екатеринбурге, смотрим: рядом с булочной стоит в сугробе шикарная ёлка, красота. Но мы не стали брать — пусть

кому-то другому достанется. У нас уже своя дома стояла.

— *Вы пятый год как в Екатеринбурге. Какое ощущение у вас от города?*

— Я к любому городу равнодушен, к размаху его... Правда, кроме булочной и пивной никуда не хожу. Люблю вот сараи видеть в окошко, деревья... Всю жизнь мечтал о деревне. Астафьеву повезло, у него была Овсянка, и он там как на дрожжах поднялся... А я глаза закрою: Амур вижу. Лучше нет реки на свете.

*Екатеринбург, вечер 14 января 2002 —
Москва, 2 октября 2002.*

Нина Решетова-Павчинская

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

В конце сентября 1937 года Лёша* был в командировке. Вернулся он числа 5 или 6 октября, и я рассказала ему о погромной статье в «Правде» от 30.09.37 г.

С 04.10.37 г. начался разбор статьи в крайкоме ВКП(б). Видя неизбежность происходящего, Лёша был так ещё наивен, чувствуя свою невиновность, что предполагал самое страшное для себя — исключение из партии, в которой безупречно состоял 10 лет (начиная с 17 лет). Чтобы оставить себе хоть частичку самого дорогого — он вынул партбилет из обложки (сохранить её для себя). Два вечера провела я в страшной тревоге, думая, что он уже не вернётся. Возвращался он слишком поздно, совершенно убитый. До него не дошла очередь, а тех, кого уже приглашали и обсудили, при выходе из крайкома приглашали в «воронок» и увозили навсегда.

На третий день к разбору остался один Лёша. Его начали обсуждать в конце второго дня, и все выступающие были против него, так что результат был predetermined. Можно понять, с каким чувством я ожидала его.

* *Близкие Леонида Сергеевича Решетова звали его Лёшей.*

И, несмотря на всё, он всё же пришёл в этот вечер домой. Пришёл хотя и взбудораженный, но и какой-то успокоенный или уверенный — не знаю, как определить его состояние в этот вечер...

Итак, все высказались против него, и только когда выступил последний, не высказавшийся товарищ, дело приняло совершенно неожиданный поворот.

Это был сотрудник редакции Полянский — человек тихий и незаметный, которому Лёша не очень симпатизировал. Он сказал только, что если исключать из партии таких, как Решетов, то надо сначала исключить всех остальных. Вы подумайте, что вы делаете?

И вот после этого недавние противники стали снова брать слово и находить в Решетове всё положительное и соответствующее моменту.

Короче, резолюция была такая: объявить выговор за потерю бдительности и послать на самый ответственный участок по борьбе с врагом народа.

Преыдыущие два дня я мужественно держалась, чтобы поддерживать его, а тут, когда всё закончилось как будто благополучно, — заревела в голос, чем даже, кажется, обидела его. Будто бы не рада была такому благополучному исходу.

За полночь поужинали мы, распили на радостях бутылочку вина и улеглись спать, так как в 10 утра он должен был уже выехать в командировку по выявлению врагов народа.

В эту ночь я видела страшный вещий сон, который запомнился мне на всю жизнь. В доме шум и крик: пришли злые волшебники и хватают людей. Вижу троих — они хватают жильцов нашего дома и бросают их в воду, всего семь человек. Те тонут, и только один поднялся и пошёл по воде, как посуху, сказав: «Ничего, Господь милостив». Я видела его только в спину, с вещевым мешком за плечами (все последующие годы

мне хотелось верить, что это был Лёша). После этого я увидела себя на перроне какого-то вокзала, забитого несметной толпой женщин, нагруженных мешками, чемоданами, узлами. Я всё волновалась, что должен появиться поезд, а мы ещё не купили билеты, но меня успокоили, что всех нас повезут без билетов.

Мы сели завтракать на кухне. В 10 часов утра за Лёшей должна была прийти машина на вокзал. Кто-то постучал в дверь. Мне ответил Павел — наш дворник, попросил наш топор. Я открыла дверь, а там трое чекистов с дворником. Они сразу же: «Ваша комната, ваша жена?». Я чуть сознания не лишилась: не оттого, что они пришли, а оттого, что этих людей я этой ночью ясно видела во сне: эти люди — всё вплоть до одежды.

Обыск делали только в письменном столе, но зато сгребли всё подчистую: даже все мои документы и все фото, даже детские; сказали, что потом разберутся и вернут. Забрали все фотоаппараты и две китайские бронзовые вазы ручной работы, которым сейчас цены нет. Поводом для их изъятия послужил иероглиф на доньшке, напоминающий фашистскую свастику (весьма отдалённо). И они так и записали в протоколе: две вазы с изображением фашистской свастики.

Позднее я узнала у наших китайцев, что этот иероглиф означает нирвану — небытие.

Мама с детьми сидела на кухне, а мне велели собрать Лёше необходимое. Он не хотел брать ничего лишнего, считая, что пробудет там не более недели. Хорошо, что я положила, кроме необходимого набора, тёплый свитер и завернула всё в двуспальное ватное одеяло. Всё же на одну половину он мог лечь, а другой укрыться.

Прощался со всеми, а в коридоре, у входной двери ещё раз обнял меня, и последние слова его были: «Никогда, ни при каких обстоятельствах не

падай духом. Перемелется — мука будет». И ушёл навсегда.

На улице накрапывал промозглый дождик, он шёл, ссутулясь под вещевым мешком, в своём стареньком рыжем бобриковом пальто, не ведая, что шагает в никуда...

В 10 утра за ним приехал Фетисов, с которым они вместе должны были ехать в командировку. Когда он узнал, что произошло, — побледнел как мел и лишился дара речи.

Я села с ним в машину и поехала в редакцию сообщить обо всём Вадиму, но он уже полчаса назад был отстранён от работы. Такая же участь постигла и меня. Дети остались без отца: Бетя — 1 год 10 месяцев, Алёша — 6 месяцев.

И так мы с Вадимом сделались безработными, и на работу нас никуда не брали. Я не могла устроиться даже уборщицей. Так было полгода, до марта 1938 года. А жить-то чем-то надо. Вот и стала ходить на барахолку, продавать всё, что-то из тряпок, кроме Лёшиных неприкосновенных вещей. Продала письменный стол с креслом, Алёшину коляску, свои ручные часы (единственные в моей жизни — больше уже не завела). Кроме того, что нужны были деньги, — боялась, что опишут последнее, как это было принято.

На второй день после ареста Лёши пришёл комендант редакции и потребовал казённые вещи — кушетку и старый канцелярский шкаф, служивший нам шифоньером, — боялся, что враги народа захватят социалистическую собственность.

В нашей полупустой комнате остались только полупусторная кровать, детская кроватка, этажерка с книгами и обеденный стол.

Всё это время я бегала по всем возможным и невозможным инстанциям в надежде узнать что-либо о

Лёше, но везде получала один ответ: «Вы враги народа, скажите спасибо, что вас ещё носит земля».

Однажды в гастрономе я нос к носу столкнулась с его следователем Красильниковым, главным лицом при аресте. Я подошла к нему и сказала: «Товарищ Красильников, разрешите задать вам вопрос?» — «Слушаю вас», — сказал он и подошёл ко мне. А когда услышал мой вопрос относительно Лёши, сделал удивлённое лицо и сказал: «Вы, гражданка, ошиблись, я не Красильников, а Меер — служащий банка, могу даже показать вам свой паспорт». Мне ничего не оставалось делать, как только с усмешкой сказать ему: «Первый раз в жизни вижу человека, который вынужден сам отказаться от себя».

Наш дом постепенно пустел. Из сорока квартир только три остались нетронутыми. По ночам стоял он тёмный, и светились лишь несколько окон.

Помню, как первым из нашего дома взяли Чугунова — культурнейшего китайца из горкома. Это был безупречно одетый, безупречно вежливый человек совершенно европейского вида. Лёша, узнав о его аресте, сказал с недоумением: «Подумать только, вот ведь как маскировался». А когда перед своим арестом он пришёл вечером из редакции и рассказал мне, что в Свердловске застрелился, запутавшись с врагами народа, Костя Пшеницын, которого мы, владивостокские комсомольцы, просто боготворили, вид у него был совершенно подавленный, и он сказал, что теперь он уже ничего не понимает...

Буквально все знакомые, ещё оставшиеся на свободе, затаились от нас и, встречаясь на улице, делали вид, что не видят нас.

На одного, самого близкого знакомого я была очень обижена за такое отступничество, а вот теперь только узнала, что он позднее тоже был взят и расстрелян.

Расстраивал меня Бетуля: после обеда мы выходили с ним погулять. Выходили за ворота, садились на скамеечку, как раньше, когда встречали Лёшу с работы, и он, помня это, радостно говорил мне: «Скоро папа придёт...» Мне так хотелось считать эти слова вещами.

Была уже зима, и я каждое утро бегала к зданию НКВД. Близко подходить не разрешали, я стояла на противоположной стороне, смотрела на это страшное здание с намордниками на всех многочисленных окнах, над которыми вились в морозное небо клубы пара, и пыталась угадать, над каким же окошком вьётся его дыхание, чувствует ли он, что я стою так близко от него и так недосягаемо.

В конце декабря мы с мамой затеяли генеральную стирку. Ванна была доверху заполнена замоченным бельём. Часов в 12 пришёл мужик в коричневом кожаном пальто до пят и назвался комендантом Морозовым. Он безапелляционно заявил, чтобы к четырём часам мы были готовы с вещами, уже будут куда-то вывозить, а куда — нам как врагам народа, знать не положено. Вывезем — тогда и узнаете.

Что делать, можно с ума сойти от неизвестности. На улице мороз страшный, ребята маленькие. Куда вывозят — в Соловки, на высылку — полная неизвестность, а тут ещё укладывать ничего нельзя — бельё мокрое.

Может быть, выручило то, что в таких непредсказуемых ситуациях я не теряю присутствия духа. Наоборот, у меня появляется особая энергия и сила. Думая, что вывозят из города, побежала в сберкассу, забрала деньги. Хотела телеграфировать Калинину (дура набитая), да не успела по времени. Прибежала домой, а там к нам пришла мамина приятельница Катя Любомудрова. Вот мы все и впряглись в работу. На всей кухне натянули верёвки, нагрели док-

расна плиту, наталкивая в неё сочинения Ленина (дров не было); я стираю, мама сушит, Катя гладит. В общем, справились со стиркой, уложились и стали ждать машину с комендантом.

Явился он, под хмельком, только в 10 часов вечера и милостиво разрешил ложиться спать до утра. Утром соблаговолил сказать, что нас просто выселяют из дома и перевозят в новое жильё. Уговорила его разрешить оставить детскую кроватку (одну на двоих) в общей кухне, чтобы мама с детьми побыла там, пока я устроюсь на новом месте. Согласился с трудом, до следующего утра.

Машина со мной и барахлом заехала во двор соседнего Портового переулкa (в ста метрах от нашего дома), подъехала к какой-то развалюхе, утонувшей в снегу по самую крышу, шофёр сбросил вещи прямо в снег и укатил.

Вместе со мной прибыла и семья Халфина из нашего дома, которых постигла такая же участь, как и нас, из-за отца, работавшего в редакции.

Разгребли снег, сбили амбарный замок с двери и вошли в помещение — комната метров 40 с множеством окон, заколоченных досками из-за полного отсутствия стёкол. Несмотря на утро, в комнате совершенно темно. Пол под ногами прогнил, доски качаются, посредине комнаты полуразрушенная плита, стены по углам отошли друг от друга, и в отверстия навалило снега. В общем, вид — хуже не придумаешь. Достаточно сказать, что сын Халфина, взрослый человек, сам отец, упал в своё кресло, закрыл лицо руками и заплакал чисто по-женски. Я же, поручив всем утепляться и обживаться, побежала кормить Алёшу. Алёшка насосался досыта и сладко уснул у меня на руках, а я стала рассказывать маме о нашем новом жилье. Вдруг дверь в кухню распахнулась, и ворвалась молодая жена Хал-

фина. Она только крикнула: «Ниночка, мы горим!». Я передала Алёшу маме и, как была, раздетая бросилась бегом по лютому морозу спасать пожитки. Перед нашей хибарой стояла толпа народа и две пожарные машины. Я заметила у входа несколько чекистов.

Морозов бежал и кричал: «Сволочи! Враги народа! Нарочно подожгли!». А беда случилась из-за того, что интеллигентный Халфин понятия не имел о топке плиты, да ещё разрушенной, а согреться было необходимо. Искры попали на чердак, и там загорелось, но настолько непригодно для жилья было это помещение, что пожарник, находившийся на чердаке, вдруг по пояс провалился через потолок и повис...

И всё же нашёлся и среди чекистов сознательный человек, он подозвал Морозова, отчитал его за издевательство над людьми и велел утром устроить нас по-человечески. Халфины получили где-то комнату и уехали, а нас поселили в этом же дворе в бывшую квартиру Арсеньева.

Квартира: две комнатки по шесть квадратных метров, одна метров 20, общая кухня, маленькая застеклённая верандочка. Никаких удобств — ни воды, ни канализации — всё во дворе...

В квартире уже жили семьи арестованных. В одной комнатухе жена работника посольства в Харбине Тося Сердюк с маленькой дочкой Идой. Во второй комнатке — жена военного Ефросиния Карачевская с сыном Олегом, учеником 10-го класса. В большой комнате — хозяйка всей квартиры (в прошлом) Евдокия Хохлова, жена работника Хабаровского НКВД. С ней жил сын Борис, хороший, красивый парень 17 лет. Маленькую годовалую дочурку Дуся увезла к родным в деревню, боясь своего ареста.

Вот эту комнату мы перегородили занавеской и стали жить на новом месте. Там уже стоял хозяйский

обеденный стол, и мы смогли поставить только свою кровать, на которой спали вчетвером: с одной стороны — мама с Бетей, с другой — я с Алёшей. Когда приходил Вадим (мой брат), ему стелили под столом, больше места не было.

Так нигде и ничего не могла я узнать о Лёше. Единственное, что разрешалось жёнам, — это передать раз в месяц 50 рублей, вложенные в конверт, и через несколько дней получить конверт обратно с распиской мужа о получении.

Эти дни передач были дня нас днями надежд и огорчений, и всё же ждали их с нетерпением и тревогой. По росписи пытались гадать о многом, и хотелось что-то прочесть в каждой буковке.

Процедура этой передачи была очень сложная, так как нас собиралась у здания НКВД буквально тысячная толпа, и чтобы упорядочить эту громадную очередь, одна-две из инициативных женщин раздавали порядковые номера. Раздавались они ночью за два дня до передачи, и получившие их сразу же уходили домой, так как не разрешалось собираться большой толпой, да ещё на виду у всех. Но, понятно, все спешили прийти первыми, чтобы поскорее сдать заветный конверт с деньгами. И, конечно, было много злоупотреблений с раздачей номерков: выдающий их старался первые номера оставить для своих знакомых. Учтивая всё это, я решила эту миссию взять на себя. И вот на швейной машинке без ниток я прострочила бумажные полосы, чтобы легко было отрывать талончики с номерами, написанными зелёными чернилами, чтобы не было подделок, и, приняв ряд предупредительных мер, взяла раздачу номерков на себя. Правда, первую ночь приходилось проводить на морозе, а днём прятаться в каком-нибудь укромном местечке. На вторую ночь я отдавала оставшиеся номерки другой женщине и шла отсыпаться домой.

Сдача конвертов с деньгами шла медленно, так как принимавший их сверялся по огромной книге. И мы, подходя к окошечку, трепетали от страха: примут или нет? Если принимали, значит, жив и ещё здесь. Если не принимали, значит ушёл в этап или из жизни. А бывали случаи, что приём денег прекращали, чтобы принудить подписать предъявленные обвинения, а потом снова начинали брать. Поэтому, несмотря на отказ, женщины продолжали упорно ходить, пока что-нибудь не прояснялось.

В феврале 1938 года я получила обратный конверт с такой распиской, что и ребёнку было бы понятно: писавшему изобразить каждую букровку в ней стоило больших трудов...

13.04.1938 года Лёша был осуждён и в этот же день расстрелян. Я, понятно, не знала об этом и продолжала упорно ходить с передачей, пока то ли надоела принимающему, то ли он пожалел меня и сказал: «Не ходи, не ходи больше, вот смотри — выбыл он», — и показал книгу, в которой фамилия Лёши была вычеркнута красным карандашом.

С тех пор неотступно мучили меня два вопроса: в чём его обвинили и где нашёл он последний приют?

Все это я узнала только через 52 года.

Юрий Марков

УШЁЛ... И НЕ С КЕМ ГОВОРИТЬ

«В молчаньи твоего ухода упрёк невысказанный есть»... Эти строки Бориса Пастернака, посвящённые Марине Цветаевой, вполне можно отнести и к Алексею Леонидовичу Решетову. Вот его самого стихи из почти предсмертных, необработанных; привожу их с позволения вдовы Тамары Павловны. Стихи, по-моему, хороши и к месту:

По Господней воле
Я не только здесь,
В этом чистом поле.
Я и в небе есть.

Несмотря на кажущуюся определённую, я не думаю, что эти строки рождены предощущением скорой смерти. Собственная смерть Алексею Решетову, скорее всего, была в её трагический миг большой неожиданностью, несмотря на его продолжительную и тяжёлую болезнь (бронхиальную астму). Незадолго до этого печального события я несколько раз разговаривал с ним по телефону, получил от него письмо — ни одного намёка на предчувствие скорой развязки. Наоборот. Судите сами (из последнего письма): «Юра, дорогой! Очень рады, что тебя наши славные медики починили, отремонтировали (Я прошёл

через шунтирование. — Ю.М.), даст Бог, мы ещё проживём на этом свете. И по фужорчику выпьем». Письмо датировано вторым сентября 2002 года, 29 сентября его не стало.

...Наша первая встреча произошла в редакции газеты «Березниковский рабочий». Алексей уже выпустил книжку стихотворений «Нежность» (1960 год), на подходе была книжка прозы «Зёрнышки спелых яблок». Затащил меня в редакцию Саша Медведев (поэт, сейчас живет в Москве). Признаюсь, с большим трудом затащил.

Несмотря на только ещё начинающий возникать ореол известности Алексея в Березниках, доминировал на литобъединении не он, а его друг Виктор Болотов, резкие оценки и жесты которого по поводу стихотворений членов «лито» меня тогда обескуражили и вызвали чувство неприязни. Только спустя время, уже после службы Виктора на Тихоокеанском флоте, я понял, насколько он сам был ранимым, незащищённым человеком. Уже когда Витя с женой, Верой Ефимовной Нестеровой, жил в Перми, я, не расставаясь в ту пору с гитарой, бывал у них в гостях, наши беседы и дружеские возлияния заканчивались моими песнями. Виктор частенько просил спеть романс на стихи Ф.Тютчева «Я встретил вас — и всё былое...» и всегда, слушая, плакал... Это были слёзы обо всём невозможном и не случившемся в его жизни. Резкое лицо, колющий взгляд, скрежет зубов и катанье бутылок под столом (была у него такая привычка) — всё это было всего лишь слабым его щитом от нападающего времени... В конце концов Виктор не выдержал напора душевных передраг.

В ту давнюю встречу в «лито» в Березниках Алексей Решетов был, в отличие от Виктора, немногословен, больше слушал, делая изредка замечания. Я и в

последующие годы их дружбы замечал, что Алексей всегда уступал Виктору, отходя в тень.

Встреча в литобъединении для меня близким знакомством ни с Алексеем, ни с Виктором не закончилась. И принят в доме Решетовых-Павчинских я был не сразу. Но маленький город, объединяющая страсть к литературе сделали своё дело. Мало-помалу я стал бывать в доме № 8, кв. 4 по улице Ленина. Это был красивый старый дом с аркой. Сколько всякого в нём и вокруг него происходило!.. Постепенно я познакомился с друзьями Алексея: Толей Акуловым, Костей Шестаковым, Чеховым. Позднее к нам присоединились Паша Петухов, Слава Божков. Но наши встречи с Алексеем чаще происходили всё-таки на солемельнице первого рудоуправления, где он проработал около тридцати лет. Именно там мы, пришедшие сюда повидаться — Саша Медведев, Слава и я, — читали Алексею свои новые стихи, и случалось, да простит нас Господь и начальство рудника, выпивали.

Потом возникла петуховская кухня, в которой мы просиживали ночи — я с гитарой на коленях — в жарких спорах о стихах, женщинах и о любви. И всё же чаще мы, мальчики, пишущие стихи, собирались отдельно от Решетова и Болотова — триумвиратом: А.Медведев, С.Божков и я. Издавали свой устный журнал.

Время, несмотря на безденежье и даже откровенное нищенство, было великолепное!

И тут возникла Вера Ефимовна Нестерова.

После окончания Закамского химико-механического техникума (какое совпадение — Алексей тоже окончил химико-механический техникум, только в Березниках) она приехала на практику в Березники. Жила в общежитии на улице Фрунзе, дом 20, где и я проживал в ту пору. У меня был приятель Юра Плиш-

кин, гитарист, влюблённый в подругу Веры — Люцию; та, в свою очередь, рассказала ему о Вере, о том, что она пишет стихи. Так мы познакомились. Я в свой черед рассказал Вере об Алексее, и она, преодолевая смущение, пошла к нему со своими стихами. Я предупредил её, что в доме у Решетовых не очень-то принимают посторонних женщин. С ней, как ни странно, все обошлось...

А вот стихи, позднее посвященные Алексеем Вере:

Я встреч с тобой боюсь, а не разлук.
Разлуки нас с тобой не разлучают:
Во тьме ночей и путанице вьюг
Мои глаза твой профиль различают...

Думаю, всё творчество Алексея тех лет прошло под впечатлением от встречи с Верой Нестеровой, вскоре оказавшейся роковой для них обоих. Вера выбрала Виктора.

В это время в Березниках собрались некогда гонимые властями люди со всего Союза. Далеко не ординарные. Для нас с Сашей Медведевым, да и для Болотова и Решетова, так и остался, например, загадкой человек по фамилии Фирстов — Юрий Фирстов. Инженер с химического завода. Жил он по тем временам обеспеченно, в общежитии. Витя Болотов часто рассказывал с нескрываемым детским удивлением про то, как их с Алексеем Фирстов угощал в кафе «Отдых» коньяком и шоколадом. Мы же с Сашей просто не вылезали от Фирстова. Тот писал стихи, стол у него всегда был накрыт, но нам интересен он был не только этим. У него были пластинки и магнитные ленты со старым Лещенко, Вертинским, Окуджавой, Козиным. Он и сам немного играл на гитаре. Я уж не говорю о сборниках поэтов, редко или совсем в это время издаваемых, он их нам давал читать.

В общем, Фирстов (впоследствии Александр Медведев, уже живя в Москве, выяснил, что это была не настоящая его фамилия) был загадочен, одинок и, безусловно, человек высокой культуры. Как неожиданно он появился в нашей жизни, так внезапно и исчез.

Новый виток в наших отношениях с Алексеем возник, когда он познакомил меня с Львом Ивановичем Давыдычевым. Было это году в 1965-м, в сентябре. Лев Иванович, Владимир Михайлюк и Алексей Решетов были приглашены на встречу журналистов города с актёрами Березниковского драмтеатра, в кафе «Берёзка». Мне было тогда 18 лет, я писал песни и пел их — по тем временам, редкое занятие. Алексей рассказал обо мне Льву Ивановичу. Так я оказался в «Берёзке» за их столиком, с гитарой.

Для меня тот вечер оказался более чем памятным... Я встретил здесь свою будущую жену — Надежду Александровну Ворожцову, которая родила мне двух прекрасных дочек — Катю и Настю. В последнем письме А.Решетова ко мне — всё-таки судьба ходит кругами — он написал о Насте: «Настя — русская красавица на современный лад, чем-то неуловимо приятным на тебя похожа, простотой, бесхитростностью, что ли». Дело в том, что Настя, живя в Екатеринбурге, заходила к Алексею с Тамарой по моей просьбе. Отсюда и эта строчка в письме. Старшую мою дочь, Екатерину, Алексей и Тамара знали давно, а Тамара и вообще была первой её учительницей музыки. Анастасию, уже взрослую, они увидели впервые. Алексей, вообще, всегда с теплотой отзывался о моих домочадцах, особенно о Маргарите Владимировне, тёще, которой нынче уже 92 года. Да вот из того же последнего письма:

«Храни тебя Бог, дружище! Поклон Наде и всем твоим домочадцам. Обнимаю крепко. Твой Лёша Р. и Тамара К.

Сонечка ваша не пошла ли в школу?

Как быстро летит время!»

...Соня, конечно, пошла в школу, а вот Алексея нет. Ушёл... и не с кем говорить.

...Я с большим уважением относился к родным Алексея. Это и понятно. Такие судьбы!

Несколько слов о его бабушке и матери. Ольга Александровна Павчинская (бабушка) была очень живым для своих лет человеком. Запомнилась она мне с горящим взором, часто с экспрессией в движениях, с рассказами о гусарах, о былых временах. Мать, Нина Вадимовна Решетова-Павчинская, была, напротив, замкнутой, ушедшей в себя. Я всегда дивился стойкости Нины Вадимовны. Казалось, она внутренне от всего пережитого окаменела. Я и сейчас думаю, что она никогда не плакала — имея в виду годы нашего знакомства, когда почти все большие горести были уже позади.

Но интересовалась она всем и даже любила некоторые мои песни.

...Вечер в «Берёзке» продолжался долго. Я пел на нём и Окуджаву, и свои песни. Потом мы — Лев Иванович, Михайлюк, Лёша и я — поехали на Круглый Рудник, в деревню, где тогда жил и работал проходчиком шахтных стволов Володя Михайлюк. Здесь продолжили пить и есть до утра. В эту ночь В. Михайлюк сочинил мелодию на стихи А. Решетова «Ты слышишь, мама, я пришел». Сейчас Алёша действительно ушёл к своей маме, но нам, его друзьям, от этого ещё грустнее...

...Лев Иванович пригласил меня в Пермь пожить у него дома, что вскоре и произошло.

Начался пермский период моей жизни, длившийся недолго. Давыдычев познакомил меня со всей братией, в том числе и с журналистами. Прекрасная была атмосфера в редакции газеты «Молодая гвар-

дия», где тогда работали Володя Михайлюк, Ирина Христолюбова, Виктор Соснин, Юлиан Надеждин и многие другие. Можно было во время рабочего дня запросто распить бутылку сухого, сыграть на гитаре, что мы и делали.

В 1982 году Алексей переехал в Пермь. Видеться мы стали немного реже.

Ну, и напоследок самая трудная для меня тема, наши личные отношения с Алексеем Леонидовичем. После стольких лет знакомства и дружбы (39) возникает сам собой вопрос, особенно, если учесть, что Алексей старше меня на девять лет: был ли он моим учителем в стихотворчестве?

Скорее всего, нет. Мои стихи основаны совсем на других принципах, чем у Алексея. Но общение с ним, часто тяжелое, человек он был непростой, давало лично мне много. Поначалу я приносил ему стихи, и он делал основательные пометки на полях рукописи. Потом я стал делать это всё реже. Было неудобно его отвлекать — прочтение и тем более рецензирование — не простое занятие, если производится на совесть. Зато наши совместные пирушки, бессонные ночи у Павла Петухова, у самого Алексея, у меня и были тем кладезем, из которого мы черпали науку стихотворчества, учась друг у друга. Алексей как никто среди нас походил на поэта внешне, особенно в молодости: большие глаза, тонкая шея, узкое лицо — всё вместе говорило об утонченности его натуры... которой приходилось, однако, вкалывать кувалдой на солемельнице. Но главное в Алексее всё же было — его душа, вся в сомнениях и надрыве, хотя внешне это было незаметно. К своей жизненной неустроенности, которую со стороны не было видно, — я имею в виду поэтическую судьбу — он постоянно добавлял всё новые и новые испытания. Думаю, без этих его экспериментов над сво-

ей душой мы бы сейчас не имели того, что имеем, — лирику Решетова.

Волею обстоятельств я оказался причастен и к личной жизни Алексея. С обеими главными женщинами его жизни — Верой и Тamarой — познакомил его я. Вообще, женщина в творчестве Алексея Решетова играет заглавную роль. Но для написания более обстоятельных воспоминаний нужно, чтобы прошло время, улеглась боль потери, и только тогда можно будет подробнее и спокойнее изложить суть былого.

Судьба Алексея Решетова логически подошла к концу, хотя эта логика и не укладывается пока в сознании. Но жизнь поэзии Решетова продолжается. Scripta manet (написанное остаётся).

*Березники,
24 октября 2002.*

Зёрнышки спелых яблок

Повесть написана в 1959 году. Издавалась трижды: первое издание в 1963 г., второе — в 1968 г. (оба — Пермским книжным издательством, с рисунками художника Виталия Петрова) и в 1987 г. в сборнике «Автопортрет» (А.Решетов. «Повесть. Стихи». — Пермское книжное издательство, художник А.Амирханов).

В повести отражены воспоминания и ощущения (насколько позволяла цензура того времени) маленьких братьев Алёши (Лёня) и Бети (Петя) Решетовых, оторванных из-за репрессий с младенчества от отца и матери и выживавших с бабушкой (Ольгой Александровной Павчинской) в тяжёлые годы войны в Хабаровске.

Под именем художника дяди Вадима дан образ их дяди, Вадима Вадимовича Павчинского, старшего брата Нины Вадимовны Павчинской-Решетовой, — известного на Дальнем Востоке художника-графика, писателя и журналиста, работавшего в своё время вместе с отцом Алексея и Бетала в газете «Тихоокеанская звезда» и также пострадавшего от репрессий.

Образ же фотографа — собирательный. В семье А.Р. фотографией увлекались его отец, брат матери и их двоюродный брат Валентин Фохт, а потом и их сыновья.

Несмотря на умолчания о многом страшном, происходившем в то время (война, репрессии, неустрашенность, холод, голод), повесть пронизана добром и

совестливостью, светом и теплом поэтической и чуткой души Алексея Решетова, очень молодого в то время автора.

Ждановские поля

Опубликовано в журнале «Урал» (№ 10, 2003).

История появления этой повести требует некоторого объяснения. Дело в том, что после кончины Алексея Леонидовича я, продолжая начатую с ним работу по компановке заказанного Пермью весной 2002 г. трёхтомника его сочинений, снова обратилась к черновикам в папке с названием «Проза», к тому, что Алексей считал недоделанным и к чему у него не было времени и сил возвращаться (трёхтомник предполагалось собрать к октябрю 2002 г.). У него было много сомнений по поводу того, что включать в это собрание. Мы успели, не имея пишущей машинки (компьютер тогда был для нас загадочен и недосягаем), сделать старым способом распечатку стихов — отбирали и вырезали из прежних изданий, а затем наклеивали на листы стихи, не входившие в каждый из предыдущих сборников. Так мы собрали в его книгах все изданные стихи. Получилось довольно много, и Алёша стал мучиться над вопросом: все ли их включать или только самые, на его взгляд, лучшие, а этого при его требовательности оказывалось мало.

Решили так: в первый том войдут стихи, во второй — небольшие его поэмы и проза, которой издано совсем немного. Это повесть «Зёрнышки спелых яблок» и два сохранившихся его очерка. Подумывал он и о готовой почти вещи «Записки из «жёлтого дома», но уж это как получится — видно будет. И уж совсем на отдалённое время откладывалась работа по приведению в порядок остальных черновиков, касающихся прозы. Эта черновая, напряжённая работа по со-

биранию уже, как Алёша решил, двухтомника заняла дни и ночи последней предбольничной недели. Торопились — кончался сентябрь, а срок — к октябрю; продолжить Алёша думал в больнице, как только станет получше. Не успели — эта неделя в больнице оказалась последней.

Столь неожиданная, никак непредполагаемая (как оказалось, только мной) смерть Алёши долго держала, да и до сих пор держит меня в шоковом состоянии. Постоянная потребность и привычка к общению с ним, заботы о нём толкали меня что-то делать для него, продолжать начатое с ним, давая иллюзию его присутствия. Так среди прочего, среди других своих занятий по «разгребанию» архива Алёши, его отца, матери, дяди и т.д. стала собирать разрозненные черновики в папке с прозой на пожелтевшей бумаге (все листы были перемешаны, некоторые листы, с одинаковыми цифрами, были в разных вариантах), сравнивая по цвету чернил, объединяя по содержанию, по названиям — то ли глав, то ли отдельных рассказиков.

Наводя, таким образом, хоть какой-то порядок, вспоминая о том, что рассказывал когда-то Алёша, я и сложила весь этот материал в единое целое под общим названием «Ждановские поля» (Ждановские — от слова «ждать», не жить, а всё время как бы ожидать жизни). Так у него, у нас с ним и было — он часто говорил мне: погоди, мы ещё с тобой проживём. Итак, многое из объединённого мне было знакомо из его рассказов, поэтому я позволила себе расставить записи по главам. По окончании этой одержимой работы, увлекавшей и переполнявшей меня столь близким и дорогим мне материалом, мне необходимо было поделиться с кем-то тем, что получилось. Я доверила прочитать это нашему очень близкому другу Володе Чижову. Ему понравилось, и он посоветовал

дать почитать Андрею Комлеву, который, в свою очередь, сказал, что это законченная повесть и её нужно напечатать к годовщине смерти Алёши в журнале «Урал» наряду с изданием собранной посмертно книжки стихов «Овен». Но это было позже. Сперва «Ждановские поля» были составлены мной не до конца, без последних глав, найденных затем — после напечатания в газете «Березниковский рабочий» (4 апреля 2003 г.), приуроченного к 4-му фестивалю «Решетовские встречи».

Так и появились «Ждановские поля», обозначенные жанрово как «наброски к повести».

Записки из «жёлтого дома»

Печатается впервые. Описанное в «Записках из «жёлтого дома» относится к 1973-му и 1980-му годам. Автор сомневается в правильности публикации записок, но, составители считают, что всё, написанное мастером, должно быть опубликовано, а время должно всё расставить по своим местам.

Посетители, близкие друзья А.Р., упомянутые в «Записках из Жёлтого дома»:

Селянкин Олег Константинович — был в то время председателем Пермской областной писательской организации.

Давыдычев Лев Иванович — известный пермский писатель.

Радкевич Владимир Ильич — известный пермский поэт.

Роберт Белов — пермский журналист и писатель.

Михайлюк Владимир Максимович — известный пермский журналист, писатель.

Надя — Гашева Надежда Николаевна — постоянный редактор пермских сборников А.Р.

Болт — Болотов Виктор Мартынович — известный пермский поэт.

Вера — Болотова (Нестерова) Вера Ефимовна.

Бэлла — Болотова (дочь Болотовых).

Аннушка — Бердичевская Анна, гл. редактор журнала «Бизнес Матч», поэтесса.

Ира — Христолюбова Ирина Петровна, пермская детская писательница.

Гриша — Григорий Мещеряков, писатель, муж Христолюбовой.

Костя — Константин Шестаков, березниковский друг А.Р., шахтёр.

Оля — Антипьева Ольга Беталовна, племянница и воспитанница А.Р.

Справедливая жизнь

Впервые — «Березниковский рабочий», 29 мая 1981 г. Сохранившийся очерк из написанных А.Р. когда он был внештатным корреспондентом «Березниковского рабочего» и печатался в заводской газете, желая стать профессиональным журналистом, каким был его отец. Автор собирался включить этот очерк в своё собрание сочинений.

Я себя не прощаю

Данный очерк в сокращённом варианте впервые был напечатан в книге «Автограф. Екатеринбургские писатели о себе» (Екатеринбург. Уральское литературное агентство, 2002 г.).

В 1982 году, после смерти бабушки, А.Л.Решетов с мамой и племянницей Ольгой (дочерью покойного брата Бетала) переехал в Пермь. В Перми Алексей Леонидович работал литературным консультантом при областной организации Союза писателей.

Последние свои годы проживал в Екатеринбурге, где и скончался 29 сентября 2002 года. Прах его согласно завещанию, был захоронен в Березниках.

Приложения

Дмитрий Шеваров «Лёгкие санки».

Последнее интервью А.Решетова. Взято писателем Д.Шеваровым. В сокращенном виде опубликовано в газете «Деловой вторник» (Москва, 12 марта 2002); полный текст — журнал «Урал» (№ 12, 2002), в книге Д.Шеварова «За живой водой» (Екатеринбург, «Пакрус», 2003).

Нина Решетова-Павчинская «Из воспоминаний».

Воспоминания мамы поэта, Нины Вадимовны, опубликованы в 3-м выпуске альманаха «Кама» (Пермь, 2003).

Юрий Марков «Ушёл... и не с кем говорить».

Опубликовано в 3-м выпуске альманаха «Кама» (Пермь, 2003).

**Алфавитный указатель
произведений А.Л.Решетова,
вошедших в 1—3 тома**

Произведение	том	стр.	прим.
«А действительно, время куда-то идёт...»	1	399	456
«А мысль одна гнетёт меня подспудно...»	2	380	
«А помните, милая, вместе...»	1	148	444
«А почему бы не махнуть...»	1	291	451
«А я старею, словно дом...»	1	376	455
Автопортрет	1	157	444
«Алхимик напустит тумана...»	1	236	448
«Ах, до чего же осень глубока!..»	1	86	441
«Ах, золотые одуванчики...»	2	62	402
«Ах, Пушкин, Пушкин...»	1	90	441
Баба Оля	1	404	457
«Бабочка петь не умеет...»	2	225	423
Баллада о волшебном слове	1	280	450
Баллада о красоте	1	83	441
Баллада о лосе	1	426	458
«Батюшки-светы! Смотри, кто явился...»	2	185	420
«Бедные люди — всё те же они...»	2	186	420
«Безволосый и беззубый...»	2	232	424
«Белая лебедь над нашим предместьем...»	1	425	458
Белая ночь	2	199	420
«Белая ночь, как святая обитель...»	1	371	455
Белый лист	1	96	441
«Березники, мои Березники...»	1	354	454
Березниковские мальчишки	1	384	456
Берёзы	1	269	450
«Блажен имеющий глаза...»	2	243	424
«Блокнот пролистал...»	1	33	438
«Боюсь за тебя: ты — как птаха ручная...»	1	332	453
«Бреду до лавочки бульвара...»	2	204	421
«Будто «можно» и «нельзя»...»	2	382	
«Будь война — ушёл бы на войну...»	1	190	446
«Бывают такие деревья...»	2	16	398
«Была весна. И цвёл орешник...»	1	283	451

«Было время — люди мёрли...»	2	210	421
«Быть может, "поехала крыша"...»	2	226	423
«В век космических ракет...»	1	296	451
«В войну количество волков...»	1	224	447
«В гостинице, в номере-люкс...»	1	212	447
«В двадцатом беспощадном веке...»	2	50	400
«В заповеднике лани...»	1	158	444
«В моём окне мелькнуло платье...»	2	326	
«В нашей комнатке-каморке...»	2	364	
«В небе пусто, в небе строго...»	1	88	441
«В окна пахнуло душистой смолой...»	1	257	449
«В пасмурном небе, как горные кручи...»	2	346	
«В поле вечером стою...»	1	225	448
«В поэзии нет каскадеров...»	1	232	448
«В простонародном страхе...»	1	250	449
«В селе над Камой есть избёнка...»	1	245	449
«В стылых лужах кривая дорога...»	2	388	
«В темнице озёрного ила...»	1	417	457
«В то время, когда я был жалок и мал...»	2	193	420
«В этой жизни заполошной...»	2	369	
«В этот день осенний, серый...»	1	169	445
«В этот мир я пришёл навсегда...»	2	359	
«В эту ночь не чужие баштаны...»	1	247	449
«В эту ночь я стакан за стаканом...»	1	176	445
Вальдшнеп	1	186	446
«Вам нравится туман...»	2	396	
Верблюд	1	255	449
«Вернись, уменьь письма создавать!...»	1	188	446
«Вертикальная звёздная даль...»	2	94	406
«Весна. Бубенчики капли...»	1	340	453
«Весна, похожая на осень...»	2	328	
«Весна-красна, нам говорят...»	1	334	453
«Ветер воет и рычит...»	2	260	425
«Ветер касается наших седин...»	1	434	458
«Взял я старую холстину...»	2	122	411
«Видишь, снег уже растаял...»	2	384	
«Вижу: Адам и Ева...»	1	199	446
Владимир Даль	2	32	399
«Власть настоящая — Всевышняя...»	2	78	405

«Вновь с небес, из Божьих век...»	2	144	414
«Во Владивостоке вы бывали?..»	2	187	420
«Воет ветер, такой одинокий...»	2	353	
«Войду в убогую избушку...»	2	373	
Волчица	1	110	442
«Вообразил, что ты — жар-птица...»	1	359	454
«Восстание природы...»	2	236	424
«Вот бабушка моя родная...»	2	395	
«Вот закопчённый чайник...»	2	391	
«Вот и жизнь моя прошла...»	2	28	399
«Вот и снова жить на свете стоит!..»	1	201	446
«Вот из примет стародавних одна...»	1	381	456
«Вот проснулась бабушка...»	2	348	
«Вот пустой дом...»	1	299	451
«Вот ты, милая, легла...»	2	371	
«Вот ты умер. Вот ты стих...»	2	389	
«Время — деньги, это верно...»	1	132	443
«Время закрытых дверей...»	1	98	441
«Вроде бы жизнь коротка, но гляди...»	1	414	457
«Всё вокруг зацвело, заблестало...»	2	235	424
«Всё дано мне от Господа Бога...»	2	377	
«Всё короче радиус...»	1	356	454
«Всё меньше друзей остаётся...»	2	161	417
«Всё равно в каком аду...»	1	127	443
«Всё равно я тебя потеряю...»	2	20	398
«Всё течет, но ничто измениться...»	1	363	455
«Всё это утро я курил...»	1	270	450
«Всё, зима, теперь не жди отсрочки...»	1	69	440
«Всё чаще думаю с досадой...»	1	161	444
«Всё, что в памяти моей...»	2	390	
«Всё, что мог, я отдал букинисту...»	1	159	444
«Всё, что случится мне впредь написать...»	2	194	420
«Всего-то навсего лесок...»	2	211	421
«Всё-то мне кажется, будто я лишний...»	2	331	435
«Всю жизнь мы шли по замкнутому кругу...»	2	133	412
«Всю ночь за коммунальной стеной...»	2	48	400
«Всюду снег ещё и лёд...»	2	197	420
«Вчера в одном читальном зале...»	2	388	
«Вчера ты меня полюбила...»	2	145	414
«Вы?! Здравствуйте! Не надо плакать...»	1	241	449

«Выпил рюмочку, другую...»	2	356	
Галка	1	48	439
«Гаснут звёзды на заре...»	2	348	
«Где вы, милые землячки...»	1	367	455
«Где когда-то колокольчики...»	2	394	
«Где ты? Как? Светлокосая...»	1	52	439
«Где я слышал этот голос?...»	2	392	
Гёте	2	92	406
«Гнёт бессонниц, снег седин...»	1	362	455
«Говорят, что счастья в жизни нет...»	2	342	
«Голод. Очередь-резина...»	1	298	451
«Голоса ночных незнакомцев. Поэма	2	312	432
Голубые цветы	2	82	406
Голый король	1	177	445
«Горят стихи моих тетрадок...»	2	339	436
«Горячий пепел горькой папироски...»	1	42	438
«Господи Боже, любимый наш Отче!...»	2	374	
Гражданка N	2	121	411
Гроза	1	204	447
«Грубеют шелковые травы...»	1	318	452
Грустный Бёрнс	1	265	450
«Да, действительно, старость — не радость...» .	2	173	418
«Да, хлопья снега — только анонимки...»	1	147	444
«Давай зажжём огонь в светёлке...»	1	336	453
«Давай перестанем встречаться...»	1	329	453
«Давайте радостней смотреть...»	2	215	422
«Давно ли я, ребёнок малый...»	2	349	
«Даже там, где у червя...»	2	327	434
«Дай мне руку, друг мой новый!...»	2	392	440
«Дайте луковку и хлеба...»	2	45	400
«Дайте мне скорей очки...»	2	343	
«Далёко-далёко, без шороха-звука...»	2	273	426
Два стихотворения	2	35	399
Дворик после войны	1	76	440
«Девчонка ласточкой казалась...»	1	124	443
Дельфины	1	166	445
«Дерево возле пивного ларька...»	2	73	404
«Деревья, часовенки и облака...»	2	362	

Деревянная Пермь	2	337	
«Десятки лет прошёл я вспять...»	2	14	398
Диалог с родной матушкой	2	108	409
Дикарь	1	150	444
«Динь-динь-динь!..»	1	287	451
«До чего же мы счастливы были!..»	1	301	452
«Добрый вечер, жизнь моя...»	2	349	
«Дождь в Перми идет осенний...»	2	343	
«Доживаю последние годы...»	2	77	405
«Доколе я мучиться буду...»	2	333	
Дом	1	71	440
«Допил бутылку, закурил...»	2	332	
«Дорогая, навеки с тобой...»	2	372	
«Древо спилили — и всё пригодилось...»	1	123	443
«Друг работал в кочегарке...»	2	212	421
Дума о Ермаке	1	369	455
«Душа — и субстанция вроде...»	2	76	404
Душа	2	53	400
«Душа и природа — в предчувствии вьюг...»	1	171	445
Дятел	1	170	445
«Есть версия, что камбала живет...»	1	162	444
«Едет собака в трамвае куда-то...»	2	120	411
«Если бы Богу молиться...»	2	331	
«Если бы не было вас на земле...»	2	184	419
«Если бы читатели сказали...»	2	154	416
«Если жизнь имеет продолженье...»	2	159	417
«Есть благодать исповеданья...»	2	268	426
«Есть ли край милей и глуше?...»	1	347	454
«Есть ли тёмно-красное пальто...»	2	330	
«Есть чернила, есть бумага...»	2	229	423
«Ещё вчера в печали...»	2	234	424
«Ещё метель сбивала с ног...»	1	427	458
«Ещё не знаешь точно дня рожденья...»	1	44	439
Ждановские поля	3	80	240
«Жду осени. Осеннею порой...»	1	223	447
«Жду тебя, а ты нейдёшь...»	2	149	415
«Жена моя, вот тебе весь кошелёк...»	1	408	457
Женский портрет	2	117	411

«Женщина — схимница, женщина — пленница...»	1	327	453
Женщина у Светлова	1	254	449
Жестокий романс	1	213	447
«Жёсткое, смутное время...»	2	395	
«Живём, постоянно вздыхая...»	2	85	406
Живопись	2	172	418
«Жизнь моя была легка...»	1	364	455
«Жизнь тебя не запятнала...»	2	391	
Жизуха	2	107	409
«Жила во Франции певица...»	2	369	439
Житие	2	332	
«Журавли собирают пожитки...»	1	195	446
«За долгий век (а он таким и был)...»	2	17	398
«За мои печали плата...»	1	173	445
«За окнами снег серебрист...»	2	220	423
«За что на свете женщин любят...»	1	111	442
«Заколочены дачи...»	1	323	453
«Замечали: летним днём...»	2	150	415
Записки из «жёлтого дома»	3	127	242
Заповедь	2	114	410
«Заря догорала, заря догорала...»	1	246	449
«Зачем всю ночь я не гашу огня?...»	2	151	415
«Зачем вы так рано меня погребли?...»	2	278	426
«Зачем замёрз ручей?...»	2	27	399
«Зачем свои плечи, зачем свои ножки...»	2	39	399
«Зачем, поэт, словарь толковый...»	2	89	406
Звездолюбы. Поэма	2	290	427
«Звенят снегири на опушке...»	2	86	406
«Здесь, на земле, и слёз, и боли...»	2	216	422
«Здорово придумано, как будто бы...»	1	208	447
«Здравствуй, здравствуй, день осенний...»	2	116	411
«Здравствуй, пасмурный денёк!...»	1	407	457
«Здравствуй, русская зима!...»	1	244	449
Земля	1	67	440
Зной	1	184	446
«Зеница ока, Родина моя...»	1	261	449
Зёрнышки спелых яблок	3	7	239
«Зима вошла в свои права...»	1	409	457
«Зима попыталась вернуться...»	1	433	458

Зима	1	65	440
«Зимний бор	1	321	453
«Знакомая запевочка...»	1	61	440
«Знаю, знаю, где на грядке...»	2	351	437
«Золотую девичью ресницу...»	1	294	451
«Золотые ворота...»	1	348	454
Зоя (Лагерная песня).....	2	83	406
«И ветер листвы не колеблет...»	1	370	455
«И вновь забрёл я на погост...»	1	416	457
«И вот мы с вами обрели...»	1	429	458
«И, вырываясь в веки кои-то...»	1	156	444
«И жалкие нищие, и короли...»	2	255	425
«И жгли меня, и потрошили...»	1	300	452
«И когда мои очи уже остывали...»	1	392	456
«И оденут меня в деревянный тулуп...»	2	344	
«И опять в мой вешний город...»	1	289	451
«И свечи оплыли, и гости ушли...»	1	418	457
«И снова в детство заглянул вчера я...»	1	70	440
«И суровое детство, и неистовый труд...»	1	310	452
«...И я растворяюсь, как капля, в воде...»	2	397	441
Иволга	1	271	450
«Иду по кромке ада...»	2	162	417
Из детства	2	156	417
Из прошлого	1	383	456
«Избавилась Россия от тиранов...»	2	166	418
Избушка на Старом Чуртане	1	365	455
«Из-под земли тебя достану...»	2	152	415
«Имею ли я право...»	2	359	
Иней	2	347	
«Ищите без вести пропавших...»	1	84	441
К Демону	1	231	448
«Как будто бы еретики...»	1	160	444
«Как быстро время пролистало ...»	2	385	
«Как все беды навалятся разом...»	2	61	402
«Как встарь говорили, намедни...»	2	368	
«Как же мне не полюбить...»	2	177	419
«Как жили женщины в бараке...»	1	218	447
«Как мне легко, когда ты возле...»	2	146	414

«Как отпечатки пальцев...»	1	229	448
«Как стихи, вы спросили, писать...»	2	208	421
«Как тяжело, что ты не поверишь...»	1	155	444
«Как у нас, в миру лесном...»	2	231	424
«Как это раньше не мог я...»	1	286	451
«Как я в детстве любил...»	2	47	400
«Как я, жалкий ротозей...»	2	331	
«Какая здесь флора и фауна...»	2	387	
«Какая может быть любовь...»	2	244	424
«Какая удачная месть...»	1	152	444
«Какие мы странные люди...»	2	214	422
«Какие чудо-маки...»	1	77	440
«Каким же он будет, последний мой стих?..»	2	388	440
«Какими были мы в начале...»	2	335	435
«Какое солнце в небе ясное...»	2	333	
«Какое счастье — ненароком...»	1	145	444
«Какой мне чудится пейзаж!..»	1	377	455
«Какой-то дядька нетверезый...»	1	248	449
Картина	1	419	458
Картошка	2	329	434
«Кем я был до появления...»	2	223	423
Кликуны	2	95	406
«Когда в тупик упрётся даль...»	2	155	416
«Когда метели здесь у нас метут...»	2	277	426
«Когда музеи закрывают...»	1	108	442
«Когда нам расставаться...»	2	352	
«Когда ни кусочка в столовой...»	2	339	
«Когда остаётся немного...»	2	56	401
«Когда отца в тридцать седьмом...»	1	307	452
«Когда приходишь ты с мороза...»	2	250	424
«Когда прощально кружат журавли...»	1	101	441
«Когда стихи не пишутся, когда...»	1	351	454
«Когда стою у Вечного огня...»	1	337	453
«Когда топорами стучат по берёзам...»	1	278	450
«Когда ты меня обнимаешь...»	1	322	453
«Когда убили Прометея...»	1	197	446
«Когда уйду по оклику Всевластной...»	2	180	419
«Когда цветёт миндаль...»	2	376	
«Когда цветка не будет на окне...»	1	342	454
«Когда я во Храме стою у порога...»	2	34	399

Колокольный глагол. Поэма.....	2	305	432
Колыбельная.....	2	153	415
Комната смеха.....	1	130	443
Комсомольская сказка.....	1	386	456
«Кому — весенняя заря...».....	1	391	456
«Кому какое дело...».....	2	356	
«Корку знаний доедая...».....	2	350	437
Коростель.....	1	308	452
Костёр.....	1	92	441
Кофточка застенчивого цвета...».....	1	63	440
Крыши.....	1	137	443
«Кто милее всех на свете?...».....	2	371	439
«Кто слышал это грозное эхо...».....	2	175	418
«Куда кавалеры глядели?...».....	2	71	404
«Куда, куда вы, облака...».....	1	119	442
«Куда, куда ты, время быстрое...».....	2	81	405
«Лёд тронулся, ликующих богов...».....	2	195	420
«Лежит солдат на поле боя...».....	2	123	411
«Леса таинственны и строги...».....	2	164	417
«Лети с отшумевшего дерева, листва...».....	1	400	455
«Лето красное прошло...».....	2	346	
«Лист с пречистой белизной...».....	2	352	
«Лужи, кто их выпорол?...».....	2	390	
«Лунный свет...».....	2	369	439
«Любимая моя...».....	2	334	
«Любимая, зачем весь день...».....	2	206	421
«Любимая, стой, не клянись...».....	1	344	454
«Любимая, что ты наделала?...».....	2	57	401
«Любимая, я так продрог...».....	2	347	
«Любите, любите, любите...».....	2	328	
«Любители лягушечьего пенья...».....	1	262	450
«Люблю грозу в начале мая...».....	2	262	425
«Любовь не терпит суеты...».....	2	256	425
«Любовь последняя моя...».....	2	355	
«Людей не надо разделять...».....	2	336	
«Люди, помыслы их и дела...».....	2	143	414
«Ляг, согрейся, разве дело...».....	1	295	451
Майоль.....	2	142	414

«Маленькая стайка...»	2	386	
Малина	1	51	439
Мама	1	144	444
Март	1	125	443
Мать жеребёнка	1	253	449
«Мать поэта...»	1	306	452
«Медленно, будто бы в гору...»	2	396	
«Между пунктом А и Б...»	2	254	425
«Метрах в трёх с половиной...»	2	379	
«Милая, не приезжай!..»	1	411	457
«Милая! Помнишь ли?...»	1	205	447
Мисс Россия	2	139	414
Михайловское	1	89	441
«Мне бы лучше тебя не любить...»	2	368	
«Мне бы лучше умереть...»	2	357	
«Мне в белые ночи уснуть тяжело...»	1	373	455
«Мне в окошко стукнул голубь...»	2	249	424
«Мне горько жить на белом свете...»	2	335	
«Мне завтра рано надо было в путь...»	2	66	403
«Мне казалось, что мы по святому велению...» ...	2	24	398
«Мне много лет, но ты приходишь...»	1	341	454
«Мне надо бы горькую книгу создать...»	1	179	445
«Мне надоело пить и есть...»	1	360	454
«Мне снился рай и там, в раю...»	2	334	
«Мне снится сон: отец приходит...»	2	26	398
«Мне хочется быть тебе другом...»	2	366	
«Может, чёт — а может, нечет...»	1	87	441
Мой брат	1	99	441
Мой край	1	45	439
«Молодость вторая или старость?...»	2	169	418
«Молю, заклинаю: — Довольно!..»	1	394	456
«Мороз. Сугробы под заборами...»	1	122	442
«Моя суровая подруга...»	2	362	
Музыка	2	148	415
«Мы Библию редко читаем...»	2	271	426
«Мы бомжи от поэзии, мы шваль...»	2	131	412
«Мы бредём, спотыкаясь о корни...»	1	131	443
«Мы в детстве были много откровенней...»	1	97	441
«Мы волки, мы серая масть...»	2	63	402
«Мы вошли в эти тесные клетки...»	2	375	

«Мы вчера совершили ошибку...»	2	270	426
«Мы ещё не сломались...»	2	389	
«Мы плыли в лодке-плоскодонке...»	2	325	
«Мы расстаёмся навсегда...»	2	257	425
«Мы с тобой — огонь и лёд...»	2	79	405
«Мы с тобою живем по соседству...»	1	428	458
«Мы собирали чернику в бидоны...»	2	165	417
«Мы топим роцами Куинджи...»	1	209	447
Мыслитель	1	234	448
«Мышка-норушка-зверюшка-простушка...»	2	266	425
«На берегу дороги дальней...»	1	222	447
«На глазах у меня умирала...»	2	129	412
«На кладбищенском погосте...»	2	377	
«На неведомой поляне...»	2	346	
«На орудийном лафете...»	2	55	401
«На тебе простое платье...»	2	354	438
«На траве золотистые блики...»	1	62	440
«Набрал цветов, грибов и ягод...»	2	379	
«Набродиться летними лесами...»	1	104	442
«Надо мною мышинный горошек...»	1	317	452
«Найти бы мне корень женьшеня...»	2	339	
«Налей мне, друг, стакан вина...»	2	356	
«Нам в детстве было очень плохо...»	2	327	
«Написана книга, поставлена точка...»	2	239	424
«Настали дни суровые...»	1	79	440
Натурщица	1	93	441
Натюрморт	1	140	443
«Не бойся, я не постучу...»	1	343	454
«Не будь в природе яблок наливных...»	2	103	408
«Не в барской столичной квартире...»	2	22	398
«Не верьте мне, люди, не верьте...»	2	392	
Не вечный сон	1	197	446
«Не время ещё ужасаться...»	2	174	418
«Не говори, что ты меня простила...»	2	372	
«Не гони меня с этого света, судьба...»	2	213	422
«Не дари мне в день ангела книжки...»	2	72	404
«Не думал, что мать потеряю...»	2	395	
«Не заболочены глаза...»	1	134	443
«Не знаю — себя ли жалею...»	2	340	

«Не знаю, что даст ещё Боже...»	2	370	
«Не искал, где живётся получше...»	1	260	449
«Не люблю язык чесать в гостях...»	2	332	
«Не могу без тебя ни мгновенья...»	2	99	407
«Не надо полагаться на себя...»	2	160	417
«Не надо спрашивать, друзья...»	2	258	425
«Не осуждай того...»	2	168	418
«Не перечислить потрясений...»	1	192	446
«Не плачь, поэзия моя...»	2	240	424
«Не плачьте обо мне...»	2	140	414
«Не по мне мировое пространство!..»	2	341	
«Не помню, какого числа...»	2	353	437
«Не представляя, как же нужно жить...»	2	275	426
«Не раз, когда сердце больное...»	1	276	450
«Не ровен час: ты вдруг устанешь...»	2	147	414
«Не сказка ли это?..»	1	430	458
«Не смею задерживать Вас...»	2	341	
«Не старайся из кожи лезть...»	2	390	
«Не так уж давно мы узнали...»	2	360	
«Не убивайся, человеке...»	1	163	445
«Не убий!..»	2	331	
«Не хочу обидеть облака...»	2	111	410
«Не хочу, чтоб жизнь закончилась...»	2	227	423
Небо	1	68	440
«Небо в крови человека...»	2	355	
«Невесёлое вино...»	1	436	459
Невыдуманная поэма	2	298	427
«Недавно мне голос был вещей...»	2	135	413
«Нежданная пирушка...»	1	421	458
Некролог	1	191	446
«Ненавижу житейскую прозу!..»	1	240	448
«Непонятная тревога...»	1	389	456
«Непослушное перо...»	1	403	457
«Нет детей у меня. Лишь стихи...»	1	128	443
«Нет покоя, счастья нет...»	1	326	453
«Нет, ты любовью не зови...»	1	146	444
«Нет, я любил, но нам не доставало...»	1	395	456
«Нету милее напева...»	1	183	446
«Ни звёзд, ни солнца в небе нет...»	2	347	
«Ни триумфальных арок, ни соборов...»	1	390	456

«Ни чёрных «марусь» у подъездов...»	2	38	399
«Ничего предсказывать не надо...»	2	69	404
«Ничего уже мне не осталось...»	2	394	
«Ничего уже не ждёшь...»	2	259	425
«Но если бы горя-печали...»	2	347	
«Но ты, мерзавец, врешь...»	2	379	
Новая дорога	1	34	438
«Новый век ещё щенок...»	2	233	424
«Ночевала золотая...»	2	351	
«Ночная зловещая зимняя сказка...»	1	238	448
«Ночь. Бессонница. Обида...»	2	127	412
«Ночь, но мне никуда неохота...»	2	393	
«Ночь печальна, ночь темна...»	1	249	449
«Ночь стоит, а я не знаю...»	2	264	425
«Ночь темна. На небосклоне...»	2	382	
«Ночь темнее кофирки...»	2	141	414
«Ну, улыбнись, моя хмурая женщина...»	2	362	
Нырблаг	2	137	413
«О, Боже, какие грядут холода!...»	1	319	453
«О вы, несжатые полоски...»	1	182	446
«О, женщина! Что за натура!...»	1	153	444
«О, зеркало — учёный попугай...»	1	242	449
«О, как за дворцовую роскошь...»	1	252	449
«О, как страшно иногда...»	2	355	
«О, как сурова жизнь и коротка!...»	2	130	412
«О, маленький, как мышь...»	1	189	446
«О, не касайтесь участием мнимым своим...»	2	269	426
«О, пустые надежды...»	2	357	
«О, суровая зима...»	2	70	404
«О чём-то плачет, причитает...»	2	102	407
«О, эта музыка! О, эта ночь!...»	2	190	420
Обелиск	1	57	439
Обращение к кентавру	1	133	443
«Один — похитил женщину...»	1	174	445
«Один лишь полуночный ветер...»	2	54	400
«Один, как перст, как дикий куст...»	1	228	448
«Одинокий умерший чудака...»	1	200	446
Оле	2	188	420
«Они расчёсывали косы...»	1	112	442

«Опадают последние листья...»	2	46	400
«Опали листья с тополей...»	2	261	425
«Опустела, одичала...»	2	280	426
«Опущу усталую главу...»	1	207	447
«Опять весна волнует кровь...»	2	383	
«Опять гудёт и стонет...»	2	64	402
«Опять за окошком ненастье...»	2	361	
«Опять за окошком подённая медь...»	1	284	451
«Опять зима, опять мороз...»	1	263	450
«Опять зима. Опять покров...»	2	379	
«Опять мой сон, как блудный сын...»	1	120	442
«Опять на землю выпал первый снег...»	1	275	450
«Опять у нас метель метёт...»	2	377	
«Опять чудит, ликует...»	2	58	401
«Опять я взялся за порядок...»	2	91	406
«Осенним, безрадостным...»	2	382	
Осень	1	64	440
«Осень кроткой была, как зорюшка...»	1	78	440
«Ослеплённый твоей красотой...»	2	191	420
«От кирпичного завода...»	1	267	450
«Отворил я оконные рамы...»	2	333	435
«Отец мой стал полярною землёй...»	1	215	447
«Отрадная ранняя осень...»	2	96	407
«Отстучит, словно дятел, топор лесоруба...»	1	43	439
«Отчий кров...»	1	338	453
«Охочие до мяса и до мёда...»	2	338	436
«Очевидно, кончается лето...»	1	335	453
«Пальто и шапочку надень...»	1	285	451
Памяти товарища	1	352	454
Память	1	55	439
«Пегасу хочется в ночное...»	1	135	443
Первенец	1	35	438
Первобытные девчонки	1	109	442
«Первый снег, первый снег на дворе!..»	2	75	404
Песенка о голландском тюльпане	1	129	443
Песня	1	54	439
Песня водителя «воронка»	2	109	410
Пехота	1	303	452
«Печаль души моей безмерна...»	2	60	402

Писарь	1	220	447
Пистолет «ЧЧ»	2	110	410
Письмо из глухой деревушки	1	435	459
«По Господней воле я не только здесь...»	2	279	426
«По звёздному поясу — Овен...»	2	228	423
«Побелели виски, потускнели глаза...»	2	13	398
«Побелели на холоде...»	2	219	423
«Побывал на своём пепелище...»	2	93	406
Повесть	2	246	424
«Подгулявших ветров голоса...»	1	277	450
Подорожник	1	60	440
«Подруга пошла на коварство...»	1	196	446
«Пожалуй, эта красота...»	2	124	412
Пожар в зоопарке	2	341	
«Поздняя осень. Дожливо. Темно...»	1	279	450
Полкан	1	290	451
Полынь	1	313	452
«Пора бы смиренно и чинно...»	2	126	412
«Пора замаливать стихи...»	1	178	445
«Порой мне кажется, что мама...»	2	222	423
Посвежело	1	38	438
«После стольких потрясений...»	2	348	
«Последней спичкою в зубах не ковыряют...»	2	245	424
«Постоянно у вороны...»	2	221	423
«Потепленье, нетерпенье...»	1	237	448
«Потерпи, дорогая...»	2	248	424
«Почему мы не вдвоём...»	2	340	
Почтальон Абрам Ароныч	1	185	446
Почтари	1	80	440
«Поэт, не надо слёз и жалоб...»	1	397	456
Поэты	1	91	441
«Превратиться бы в лёд или камень...»	1	333	453
«Представляю, как в яростном мире...»	2	203	420
«Представь, что не строчки...»	2	336	
«Прилетела голодная птица...»	2	364	
«Принимай работягу, работа!..»	1	272	450
Природа	2	242	424
«Пришла весна! Пришла весна!..»	2	198	420
Провинциальные поэты	1	292	451
«Прозрачен купол небосвода...»	1	226	448

«Промелькнуло лето...»	2	334	
«Промчались тяжёлые льдины...»	1	353	454
«Пропади она пропадом, жизнь...»	1	375	455
«Проснулся я от солнечных лучей...»	1	217	447
«Прости меня, читатель милый...»	2	267	425
«Прошла холодная погода...»	1	420	458
Прощание с веком	2	163	417
«Птицы не плачут уже, как зимой, а смеются...» .	2	119	411
«Птичьи перья и листья на тропах...»	1	398	456
«Пускай себе шумная слава...»	1	309	452
«Пускай я совсем не поэт...»	2	330	
«Пусть Вас поглотила могила...»	2	363	
«Пусть голова побелела...»	1	385	456
«Пусть тебя крысы и вши...»	2	350	
«Пушкин, Лермонтов, Есенин...»	2	387	
Радуга	1	31	438
«Раздвигается валежник...»	2	87	406
Разрыв	2	134	412
Ранняя работа	1	143	444
«Раньше, чем в самом деле...»	2	342	436
«Рвём волоса на кладбище...»	2	241	424
«Редко бываем мы вместе...»	2	98	407
Речка	1	47	439
«Родная! Опять високосная стужа...»	1	203	447
«Родная речь, прямая речь...»	2	33	399
Россия	2	115	411
Руки	1	59	440
Русалка	2	104	408
Русская песня	1	305	452
Рябиновый сад	1	256	449
Рябинушка багряная	1	382	456
«С лесной берёзы, с белого плеча...»	1	75	440
«С первой встречи, с самого начала...»	1	361	454
«Самая красивая на свете...»	2	253	425
«Сапожник допился до белой горячки...»	1	165	445
«Сбросили снежные шапки дома...»	2	196	420
Сверчок	2	209	421
«Свет звезды, которой закатиться...»	1	118	442

«Светает...»	1	56	439
«Светолюбивы женщины. Они...»	1	114	442
«Своим сиянием зима...»	1	154	444
«Сдаётся мне, что мы с тобой похожи...»	2	366	
«Сегодня или нет...»	2	375	
«Сегодня ночью выпал снег...»	2	364	
«Седому как лушь человеку...»	1	350	454
Сентиментальная история	2	293	427
«Сижу за решёткой дождей...»	1	379	455
«Синий-синий колокольчик...»	2	200	420
Синичка	1	320	453
«Скажи мне, что это такое...»	2	333	
«Скажите мне, добрые люди...»	2	97	407
«Скажите, правители наши...»	2	51	400
Сказка	1	102	441
«Сколь ни таращились совы...»	1	138	443
«Скользим ли мы по наледи...»	2	178	419
«Сколько лет я на родине прожил...»	2	371	
«Сколько лет я пытался осилить...»	2	370	
«Скорбная весть по России бежит...»	1	167	445
«Скоро снега седенькие лягут...»	1	227	448
«Скоро третье апреля...»	2	113	410
«След на земле по себе оставляет не каждый...»	2	387	
«Слёзы льются потоком...»	2	247	424
Слово	2	90	406
«Случалось ли вам на опушке...»	2	67	403
«Случилось, чего опасался...»	1	388	456
«Смакуйте прелести. Толкуйте...»	2	383	
«Смерть моя не за горами...»	1	374	455
«Смерть? На что она похожа?...»	2	386	
«Смешно высасывать из пальца...»	1	422	458
«Снег лежит ещё, не тает...»	2	353	
«Снится мне юное счастье во сне...»	2	325	
«Снится сон слепому человеку...»	1	103	441
«Снова белые ночи...»	2	359	
«Снова в наших палестинах...»	1	357	454
«Снова ветер гонит тучи...»	2	351	437
«Снова жизнь моя стала сурова...»	2	368	
«Снова свинцовые тучи...»	2	263	425
Сны	1	81	441

«Собрать бы последние силы...»	2	31	399
Солдатский сон	1	50	439
«Солнечные зайчики на траве лежат...»	2	201	420
«Соловей заливаётся, свищет...»	2	128	412
«Соловушка вырезал гланды...»	1	194	446
«Спи, любимая моя!..»	1	328	453
«Спи, моя бедная странница...»	1	372	455
«Сплошная ночь вокруг томится...»	2	334	
Справедливая жизнь	3	181	243
«Ставень хлопнул, гаснут краски...»	1	74	440
«Станция Жизнь. Первозданный рассвет...»	1	423	458
«Старею, брат, старею...»	2	218	423
«Старость — вот она, с холодом лютым...»	1	316	452
«Старуха знала, где живут маслята...»	1	105	442
«Старушка просит подаянья...»	2	338	
Стёклышки	1	85	441
«Стихи не пишутся — и чёрт с ним!..»	1	187	446
Стихи о воде	1	239	448
Стихи о военном детстве	1	311	452
Стихи о зарытом таланте	1	345	454
Стихи о любви	2	181	419
Страх	2	136	413
«Страшно в царство тишины уходить навеки...» .	2	237	424
Студенческое	1	40	438
Стюардесса	1	243	449
«Судьба души моей сурова...»	2	43	399
Сумерки	1	37	438
«Счастливая мама...»	2	360	
«Тает снег на пригорках и крышах...»	2	345	
«Так, не жена, а ждёт солдата...»	2	238	424
«Такое сказочное лето...»	1	412	457
«Там, где с тобой никогда мы и не были...»	2	376	
«Там, где течёт зеркальная река...»	2	363	
Тёмные светы	2	217	422
«Тёмные, как по ночам, облака...»	1	378	455
Тень	1	210	447
«Тень моя устала за день...»	2	348	
«Тихая ночь на земле государит...»	2	40	399
«Тихо-тихо на кладбище...»	2	378	439

Тишина	1	73	440
«То ли ещё будет там, в туманной мгле...»	2	179	419
«То не месяц скользит...»	1	380	455
Товарищ калийщик	1	273	450
«Товарищ писатель, скажите...»	2	138	413
«Только вы пред глазами предстали...»	1	251	449
«Только чёрные шпалы да рельсы...»	2	118	411
«Тополь мой неприхотливый...»	1	368	455
«Торопливо заглянув в ручей...»	1	41	438
Точильщик	1	106	442
«Тошно мне, чуть ли с ума не схожу...»	2	41	399
Травинки	1	32	438
«Трещат в печи дрова...»	2	326	
«Три ветки осенней рябины...»	2	74	404
Тропинка	1	39	438
«Тропки тоненькая нитка...»	2	52	400
«Тускло светится лунная медь...»	1	235	448
«Ты — как белая овечка...»	2	340	
«Ты благородней во сто крат...»	1	401	457
«Ты вернёшься ко мне или нет?...»	2	21	398
«Ты даришь мне больше, чем счастье...»	2	125	412
«Ты женщина, а я мужчина...»	2	192	420
«Ты замочек, я ключик...»	2	100	407
«Ты знаешь, что такое рань?...»	1	121	442
«Ты лёгким светом вся озарена...»	1	116	442
«Ты лучший человек...»	2	368	
«Ты любишь жизнь...»	2	391	
«Ты молода, мой друг, а я — поэт...»	1	151	444
«Ты не знаешь, что такое старость...»	2	374	
«Ты один сидишь в избушке...»	2	344	437
«Ты одна перед Богом ходатай...»	1	339	453
«Ты помнишь ночь...»	1	432	458
«Ты прекраснее всех, ты добра и нежна...»	2	23	398
«Ты становишься всё красивее...»	2	272	426
«Ты такой несмышлёной была...»	1	66	440
«Ты, уснувшая, лежала...»	2	357	
«Ты, что была постоянно со мной...»	1	431	458
«Тяжко на Руси пенсионерам...»	2	68	403
«Тянусь к твоей фигурке бесподобной...»	2	202	420

«У земли иного нету лика...»	2	18	398
«У любви у нашей срок...»	2	361	
«У мамы цветы на балконе...»	1	288	451
«У нас не людские замашки...»	2	88	406
«Убитым хочется дышать...»	1	100	441
«Увы, я счастлив...»	1	172	445
«Уж если думать откровенно...»	1	164	445
«Уж если я умру и не воскресну...»	1	139	443
«Уж красно лето за плечами...»	2	329	
«Уже на части сердце рвётся...»	2	389	
«Ужели в нашей жизни краткой...»	2	171	418
«Уйду без страха и сомненья...»	2	19	398
«Умер Виктор Болотов...»	2	369	439
«Умерла собачка Джуля...»	2	157	417
«Ура, я всё ещё живой...»	2	332	
«Уставшая от стирки...»	1	258	449
«Устал я от жизни недвижимой...»	2	396	
«Уходят женщины. Но эта...»	1	126	443
«Ушла, не пощадила...»	2	59	402
«Фантастический флигелёк...»	1	175	445
«Хлеб молоком запиваю...»	2	224	423
Ходули	1	214	447
Хозяйка маков. Поэма	2	285	427
«Холодно. Хочется к печке...»	2	330	
«Хорошая птица, как старая мать...»	2	381	
«Хорошо бы детишки...»	2	106	409
«Хотелось бы не так писать уметь...»	2	338	
«Хочу, чтоб только ты...»	1	324	453
«Хранительница очага...»	2	230	423
Художник	1	115	442
«Художник может и не рисовать...»	2	132	412
Цена	2	339	
Цыганка	1	193	446
Часы	1	315	452
Чаша	1	331	453
«Чего мы у Господа просим...»	2	352	

«Чего от меня она хочет?..»	1	206	447
«Чего ты только там не сочинила...»	1	230	448
Человек из пластилина	2	158	417
«Человек нёс хлеб — и пел...»	1	297	451
«Человек повесился на кухне...»	2	167	418
«Чем ближе смерть, тем жизнь дороже...»	2	330	
«Чем закончится наша размолвка...»	2	381	439
«Чем закончится наша размолвка...» (вариант) ...	2	381	
Черепаша	1	293	451
Чёрное перо	1	402	457
«Чёрный вран надо мною летал...»	1	415	457
«Читатель, милый, книгу эту...»	1	302	452
«Что, берёза, скажешь мне?..»	2	373	439
«Что бы ни было со мною...»	2	376	
«Что ж ты, красная девица...»	2	365	
«Что за диво — Новый год...»	2	358	
«Что за мною ты идёшь...»	2	363	
«Что за оказия, что за беда...»	1	405	457
«Что мне блеск посмертной славы...»	2	276	426
«Что мне делать? Я не верил в Бога...»	1	406	457
«Что смерти и сильнее, и страшней?..»	2	189	420
«— Что такое, — вы спросите, — счастье?..»	2	325	
«— Что ты плачешь, птица Сирий...»	2	44	400
«Что человек? Ни зверь, ни птица...»	2	42	399
«Чтоб не казалась родная земля...»	1	355	454
«Чтоб обращаться к миру...»	1	233	448
«Чтобы ночью с милой лечь...»	2	367	
«Что-то всё тяжелее ночами...»	1	314	452
Чужое сердце	1	358	454
«Чуть завизжу, ещё не приникну...»	2	393	
Шанежки	1	366	455
Шахматы	1	113	442
«Шёл навстречу человек...»	2	358	
Эдельвейсы	1	393	456
«Эко место накосила...»	2	370	
Эпитафия	2	101	407
«Эта жизнь — этот сон беспробудный...»	2	378	
«Эта первая любовь!..»	1	413	457

«Эти тихие речки под тонкой слюдою...»	1	266	450
«Я без тебя заливаюсь слезами...»	2	207	421
«Я боюсь, что сказать не успею...»	2	355	
«Я был пацаном голопятым...»	1	282	451
«Я в цирке не был много лет...»	1	264	450
«Я в чашу истины проник...»	1	141	443
«Я верил в розовые сказки...»	1	202	446
«Я верю, что мир будет вечен!..»	1	216	447
«Я вряд ли смогу измениться...»	2	205	421
«Я вспомнил шишкинские сосны...»	2	170	418
«Я встреч с тобой боюсь...»	1	117	442
«Я думал, уж не доживу до весны...»	2	281	426
«Я думаю: кого ты мне напоминаешь?..»	2	367	
«Я души в тебе не чаю...»	2	252	425
«Я ещё не умер. Я успею...»	2	372	
«Я жалкий Овен, ты — Весы...»	2	380	
«Я ждал тебя, и ты явилась...»	2	367	438
«Я жил далеко на Урале...»	1	221	447
«Я знал человека. О нём...»	1	142	443
«Я изучаю магазины...»	1	107	442
«Я изучил вселенские законы...»	1	330	453
«Я, как волк, появился в апреле...»	1	180	445
«Я летел в небесах...»	1	410	457
«Я любил тебя нежнее...»	2	373	
«Я любил этот взгляд, этот пасмурный свет...» ..	1	396	456
«Я «любит – не любит» решил...»	1	268	450
«Я люблю тебя, а ты...»	2	25	398
«Я не был в счастливой рубашке рождён...»	1	424	458
«Я не пойду на карнавал...»	1	149	444
«Я не хочу загадывать на годы...»	2	385	
«Я не хочу с тобой беседовать...»	2	345	
«Я не хочу с тобой расстаться...»	2	365	438
«Я не хочу, чтоб умирала ты...»	2	251	425
«Я никогда не совпадал...»	2	384	
«Я осень читаю, как повесть...»	1	168	445
«Я отчую землю...»	2	380	
«Я пил вино, как некий Бахус...»	2	37	399
«Я писал кровавыми слезами...»	2	49	400
«Я помню: с тихой улыбкой...»	1	82	441

«Я по-прежнему друг босоногим...»	1	49	439
«Я поэт, я не гнусный обманщик...»	2	112	410
«Я прежде не думал, однако...»	2	80	405
«Я пришёл к тебе проститься...»	2	385	
«Я прожил нехотя, не жадно...»	2	274	426
«Я с природы осенней...»	1	181	446
«Я себе не прощу, что тебя разлюбил...»	1	325	453
Я себя не прощаю	3	198	243
«Я словно жизнь вторую начал...»	2	265	425
«Я смерть приму, надеюсь, гордо...»	1	211	447
«Я снова русской осенью дышу...»	1	136	443
«Я стар, я немощен, я грешен...»	2	358	
«Я убит двойником в беспощадном бою...»	2	65	402
«Я умер и в землю сырую зарыт...»	2	176	418
«Я устал от зноя и от стужи...»	1	346	454
«Я шёл по земле и не видел земли...»	2	364	
«Я шёл по речке — лёд был тонок...»	2	346	

СОДЕРЖАНИЕ

Зёрнышки спелых яблок	7
Ждановские поля	80
Записки из «жёлтого дома»	127
Справедливая жизнь	181
Я себя не прощаю	198

Приложения

Дмитрий Шеваров «Лёгкие санки»	214
Нина Решетова-Павчинская «Из воспоминаний»	221
Юрий Марков «Ушёл... и не с кем говорить»	231
Примечания	239
Алфавитный указатель произведений А.Л.Решетова, вошедших в 1—3 тома	245

Литературно-художественное издание

**Решетов
Алексей Леонидович**

**ТОМ ТРЕТИЙ
Проза**

Редакторы-составители:
Т.П.Катаева, А.П.Комлев

Компьютерный набор: *Т.П.Катаева*
Верстка *С.И.Недвиги*
Корректор: *Н.А.Зайцева*

*Использованы фотографии из личных архивов
Тамары Катаевой, Юрия Маркова,
Андрея Комлева, Анатолия Войтенко,
Татьяны Богоиной.*

Изд. лиц. ИД № 04401 от 26.03.01 г.

Подписано в печать 02.09.04. Формат 70X90^{1/32}.
Бумага ВХИ. Гарнитура *Arial Cyr*.
Усл. печ. л. 10,62, Уч.-изд. л. 8,5. Тираж 5000 экз.
Заказ № 2992.

Банк культурной информации.
620026, г. Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 56.
Тел./факс +7 (343) 251-65-26.

Отпечатано с готовых диапозитивов заказчика
в издательско-полиграфическом комплексе «Звезда».
614990, г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34.